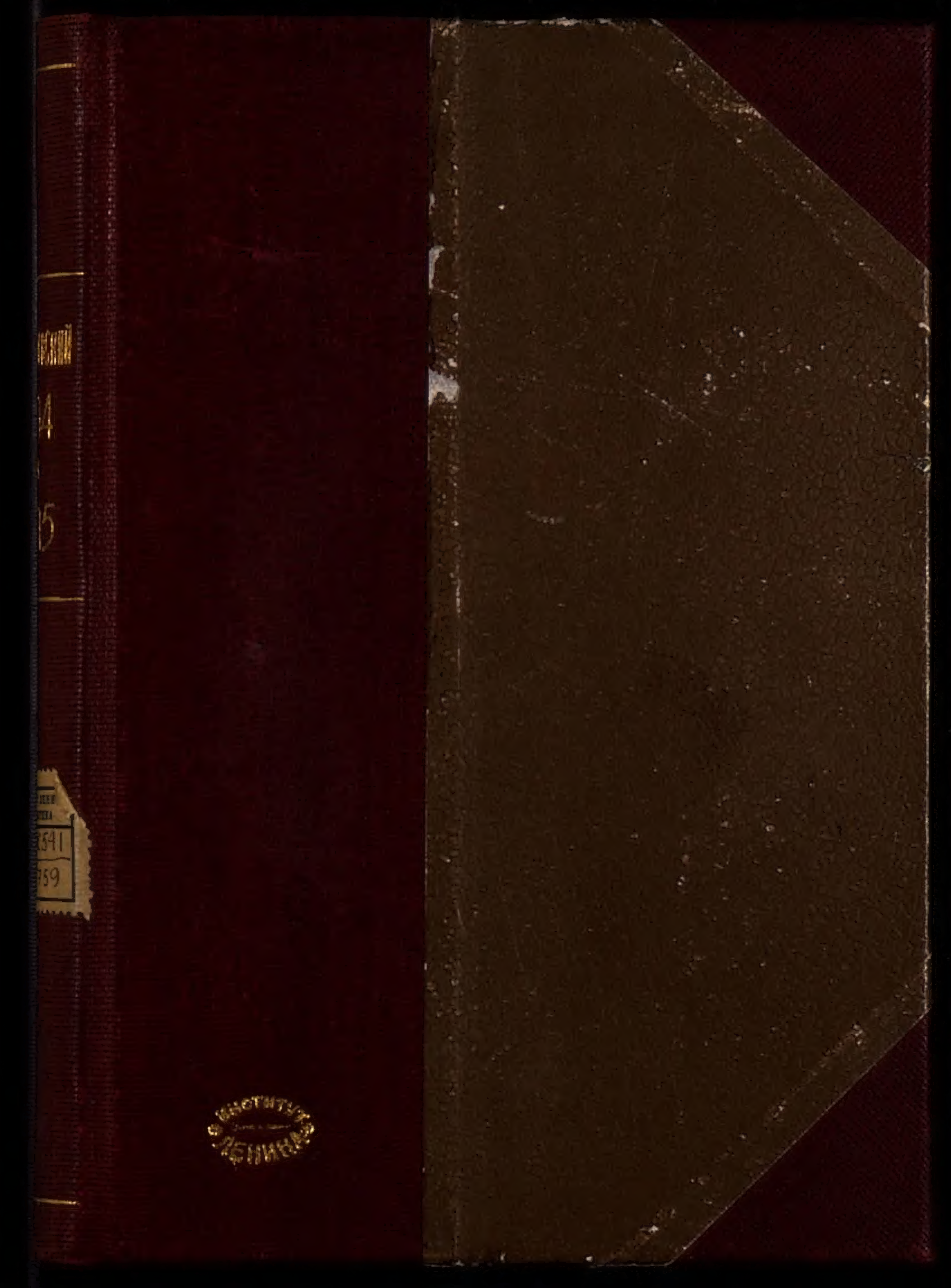

ИНСТИТУТ
ЛЕНИНА

Л. Н. ВОЙТОЛОВСКИЙ

1914 и 1915

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1928

Из книги

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

Л. Войтоловского



Л. Н. ВОЙТОЛОВСКИЙ

1914 и 1915

1928

Государственное Издательство

Обложка работы
Л. С. ХИЖИНСКОГО



Х, 20. Гиз № 24176/л.
Ленинградский Областлит № 162.
$10^7/_8$ л. Тираж 7000.

1914 год

ОТ ХОЛМА ДО НИСКО

АВГУСТ, 1914 г.

Прямо из вагонов, без передышки, нас двинули дальше. И хотя до места боев еще 64 версты, но в воздухе уже чувствуется жгучая кровь. Путь наш лежит по шоссе: от Холма к Красноставу.

... Жарко. С шумом и грохотом катится живой поток обозной артиллерийской колонны. Густая, раскаленная пыль, похожая на дым, колеблемый ветром, наполняет воздух удушливым зноем. Люди, повозки, лошади — все утопает в облаках едкой пыли и точно дымится от прикосновения к земле.

Кузнецов, живой, коренастый прапорщик, ведущий колонну, время от времени кричит хриплым голосом, ударяя стэком по серому голенищу:

— На мостике пòд ноги! Пòд ноги смотри!

Колонна подхватывает крик:

— Пòд ноги смотри! Передавай дальше: пòд ноги ...

Но через минуту колонна снова движется молча и апатично, покоряясь тяжелой неизбежности. Облизывая сухие, обожженные губы, ездовые вяло покачиваются в седлах. Глаза их налиты кровью и поминутно слезятся. Навстречу колонне, точно охваченные лихорадочной дрожью, мелькают испуганные деревни, смятые тяжкими ударами войны. Десятки и сотни мужиков, коров, лошадей; бабы с распущенными волосами, как будто растрепанными ураганом; матери, мучительно прижимающие к груди спеленутых младенцев; бездомные собаки; интеллигенты без шапок; евреи в измятых разорванных кафтанах; сидящие на узлах старухи... Все это бежит перед глазами жалкой вереницей оторопелых, покорных, беспомощных и враждебно-суровых лиц с выражением ужаса, унижения и дикой усталости в глазах. Никто не знает, куда и от чего бегут эти толпы несчастных, но почему-то все охвачены странным и мстительным озлоблением к бегущим.

— Шпионы! — сквозь зубы с ненавистью бросают офицеры.

— Побежали паны и хаимы! — повторяют за ними и солдаты, не столько из ненависти, сколько подражая начальству.

На биваке за мирным чаепитием идут такие же разговоры о предателях и шпионах.

— Смотрю я, — рассказывает степенный солдат, — енерал на возу сидит. Сам махонькой, руки веревкой скручены, а перед ним блюдце, а по нему, как искры горят: золотых куча. Голова с кулачок, лицо разбитое, один глаз вытек, а из другого слезы на блюдце капают.

— Кто такой?

— Шпеон. Говорят — за мильон купили!

— За мильон купить можно, — соглашаются слушатели.

— Много между нас народу разного пущено,— ехидно тянет кто-то, вкусно прихлебывая из манерки. — Господа енералы чудесно живут. А на золото — ух как падки!

— Может, на ем только хворма енеральская, — примирительно соображает другой, — а человек он может не наш, может, жид какой али немец, а через русскую хворму прикрывается.

— Очень просто, — сразу находит отклик и решительную поддержку патриотическая идея.

— На коней! Ез-довые, садись! — раздается зычная команда Кузнецова, и движение продолжается. По дороге встречаем ординарца из штаба корпуса с предписанием остановиться в деревне Малая-Верещи, а ночью двигаться дальше, на Красностав.

Выступили ночью. Идем шагом. Гулко грохочут зарядные ящики, гремя железом. Блещут

звезды на темно-синем небе. Ловлю на-ходу солдатские разговоры. Лиц не вижу, но слышу знакомый голос. Говорит Асеев, старый артиллерист из запаса, резонер, сектант и мечтатель:

— Много человеку простору дадено, грех на бога роптать. Поля, ручейки, скотинка... Звезды в небе, гляди-ко, как вскинулись, как рыбки плавают... Красота. Душа оторваться не может, только смотри округ себя.

— Смотри, смотри, Асеев, — насмешливо отзываются солдаты, — того и гляди немец из канавы гостинца пошлет.

— А ты не пужайся, не торгуйся со смертью, — беззлобно отвечает Асеев. — Может, мы завтра все упокойниками будем. Смерть ровно сон: глаза прикроет — сладкий покой наведет.

Прошли Райовец и Красностав, свернули в пыльные проселки. Потянулась дорога круто в гору, на Избицу и Тарногуры.

— «Шашой» куда способнее, — ворчат солдаты. — «Шаша» (шоссе) — она легкая.

По дорогам попрежнему толпы убегающих жителей с отупелыми лицами: поляки в маленьких картузах с огромными козырьками, жалкие еврейские семьи в балагулах.

— Вон хаимы детей-то сколько наделали, — смеются солдаты. — Да тощие все, в чем душа держится! Какой из него царю солдат?

— Жидкий народ, недаром жид называется,— каламбурит толстый бригадный весельчак Краснухин.

— А и поляки не лучше; все: тéраз да почéкай.

— Этому нечего смеяться, — вмешивается Асеев, — кто где родился, тот так и говорит. По-нашему сказать — пуля, а по-ихнему — куля. А смерть всем равная от пули, как ни называть.

— Это правильно. Поляки — нужный народ. Поляк что мужик: крепко в землю врощенный. Пан за землю крепко держится. Ты погляди: капитально живут поляки, отчетливо, дома все хворменные. И лясно̀ у них: сорок верст итти можно — не увидят; и земля благует.

Тарногуры — сожженное боями местечко, отравленное гарью, холерой, еврейским страхом и тревожными слухами. В уцелевшей помещичьей усадьбе помещается штаб дивизии. По улицам слоняются чубатые донские казаки и штабная прислуга. Дома битком набиты перепуганными на смерть евреями. На всех перекрестках зловонные следы холерины. Кругом гремит канонада.

На рассвете примчался ординарец с приказанием двинуться в деревню Верховицу. Итти приказано на рысях.

— Бой такой — прямо страх; аж земля гуркотит, — сообщил ординарец. И все мгновенно насторожились.

Это было 14 августа. Вышли на заре. Солдаты спокойные и строгие. Только изредка слышится:

— Ну, теперь, братцы, смерть поблизу нас ходит.

В Верховицу пришли к девяти утра. В зеленой ложбине, окаймленной высоким гребнем, уже стоял полупарк 46-й бригады и наш дивизионный лазарет. Гулко бухали пушки, трещали пулеметы и ружейные залпы, и пушисто таяли в воздухе дымки разрывающихся шрапнелей. Развернулись биваком, вскипятили чайники. Задымились походные кухни. Солдаты поминутно взбегали из ложбины на гребень, чтобы посмотреть, куда ложатся снаряды. Понятие об опасности как-то вдруг улетучилось. Все смеялись, острили, дурачились и в блаженном неведении готовы были верить, что на свете есть только веселое небо, поля и возбужденно-грохочущие пушки, голоса которых так хорошо сливаются с нашим приподнятым настроением. Чувство было такое, как будто из ложи театра наблюдаешь мучительное, но интересное зрелище.

Появились раненые с кровавыми пятнами на грязных, измазанных руках и с неподвижно

застывшими зрачками. Без особого беспокойства их расспрашивали о бое:

— Далеко отсюда?

— Вон там за мостиком, версты три не буде.

Вдруг тень упала на зеленую ложбину, повеяло смертью, и через деревню со свистом перелетел снаряд и почти в ту же минуту, корчась от боли, испуганные, с землистыми лицами, появились на гребне десятки раненых. Держась друг за друга, принимая странные позы, спотыкаясь и падая, они медленно двигались на нас, и это шествие было сказочно-страшным. Красными огненными языками болтались обрывки платья. Мерзко хлюпали сапоги, наполненные кровью, и большие огромные глаза светились безжизненно и тускло, как догорающие восковые огарки.

Раненых было много — человек до трехсот. Меж ними два офицера.

— Попали под пулеметный огонь, — пояснили нам офицеры. — Австрийцы подняли руки и винтовки дулами опустили. Мы поверили, подошли. А они подпустили близко и давай поливать из пулеметов. Это все, что от полка осталось.

— Какой полк?

— Пултусский.

Мы взяли у наших солдат индивидуальные пакеты, и все вместе — офицеры, солдаты и

медицинский персонал — начали наскоро перевязывать раненых. У некоторых кровь сочилась в пяти и больше местах. Монотонно и неохотно, простыми крестьянскими словами, рассказывали раненые о пережитом.

— Много яво, один через один, прямо, как черва̀, лезут.

— А хорошо дерутся?

— Пока водка в манерке есть — дерется.

Работа кипела. Раненые все прибывали — измученные, серые, покрытые потом и пылью. Мимо нас проезжали пустые передки.

Проносились конные ординарцы. Какой-то артиллерийский офицер, остановив взмыленную лошадь, с изумлением обратился к нам:

— Отчего не уходят парки?

— У нас нет предписаний, — отрапортовал Кузнецов.

— С ума вы сошли? — крикнул офицер. — Какое там, к чорту, предписание, когда в двух верстах австрийская артиллерия позицию занимает. — И злобно добавил: — Теперь все равно не уйдете, захватят...

Махнул безнадежно рукой и ускакал.

В ослепительный солнечный день эти слова прозвучали зловещим приговором.

Раненые мгновенно исчезли. Мы бросились к лошадям. Парк давно стоял наготове. Люди были все на местах. И не успели раздаться

слова команды, как лошади лихо рванули в гору.

Впереди шел 46-й полупарк, сзади нас — дивизионный лазарет.

Внезапно что-то заклекотало над нами громко и певуче, как мотор.

«Аэроплан» — мелькнуло у меня в голове. Но тут же раздался свистящий визг, и кто-то крикнул:

— Стреляют!

— Господи! — закрестились солдаты, и, не дожидаясь команды, ездовые яростно стегнули по лошадям и свирепо заорали:

— Рысью! Рысью!..

Лошади неслись вскачь. Каждый новый разрыв усиливал общее смятение. Глаза были жадно устремлены вперед, где синел спасительный лес, и казалось, что бешенно мчащиеся «выноса» мучительно вяло одолевают пространство.

— Скорей, скорей! — инстинктивно шептали губы. И вдруг задние ящики врезались дышлами в спину передним, и вся колонна грузно остановилась.

— Чего стали? — загремели разъяренные голоса.

— В полупарке лошадь убило. Выпрягают.

Было около шести часов вечера, когда мы подошли к Тарногурам. Штаб дивизии уходил,

Командир парка пошел с донесением в штаб и через три минуты вышел оттуда с трясущимися губами.

— Плохо, — шепнул он офицерам, — нас обходят с обоих флангов. Приказано без промедления отступать к Холму.

Не отдыхая, мы двинулись дальше. Но, пройдя версты четыре, за Избицей мы вынуждены были остановиться, так как все шоссе на протяжении многих верст и вправо и влево было запружено отходящими войсками.

... Не знаю, когда это началось: вчера, неделю, месяц тому назад... Изо всех сил стараюсь взглянуть хладнокровно на то, что происходит кругом, но ничего не понимаю. Клокочущая лавина из конских и человеческих тел, из двуколок, ящиков и повозок залила все дороги. Нет больше ни рядов, ни офицеров, ни команды, ни связи. Артиллерия смешалась с пехотой, население с войском. Без цели, без смысла мечутся долгополые евреи, грохочущие крестьянские фурманки, голосят и рыдают бабы, с дико горящими глазами бредут без конца солдаты. О чем они думают?..

Людской поток все вздувается. Люди и лошади сбиваются в плотные кучи. Задние ряды, вовлекаясь в панический поток, бешено напирают

на передних и оглашают воздух неистовой бранью.

Наступила душная безлунная ночь. В темноте, прорезанной пожаром и кострами, металось темное и слепое безумие. Люди, лошади, пушки бесформенно расплывались. Скомканное пространство превратилось в сумрачный и мучительный хаос. Точно из какой-то черной глубины порывисто устремились на землю миллионы лязгов и топотов, и от этого грохота и крика все казалось еще лихорадочней и непонятней.

— Что же это?.. Что же это? — оторопело твердили офицеры. А худенький ветеринарный доктор Колядкин, слабый и нервный, отчаянно струсил и, по-детски ломая руки, кричал беспомощным голосом:

— Пропали! Переловят нас, как куропаток...

На другое утро, с восходом солнца, мы пришли в Красностав. Все местечко запружено было парками, обозами, лазаретами и пехотой. Не было ни одного свободного дома. Мы расположились биваком у моста, и тут, неизвестно отчего, быть может, от света, от брызжущего солнца, от беспредельной воздушной синевы, почему-то всеми овладело сладкое опьянение. Как-то сами собой зароились фантастические слухи о львовских победах, и сам я вместе со

всеми поддался волнующему подъему и дерзко окрепшей вере в собственные силы.

Солдаты также охвачены были этим радостным возбуждением. Старый фельдфебель Удовиченко, поглаживая желтые усы, вдохновенно ораторствовал в толпе:

— Скучно здесь. Куды глазами ни гляну, войны, войны настоящей нету. Уйду я на батарею... Эх-х, выехал бы сейчас на позицию и скомандовал бы: первое! второе!.. Как стрельнет — душа радуется: на! получай, проклятый!..

А в другой кучке грязный, обмызганный пехотинец рассказывал с презрительным пафосом:

— Австрияк что̀? Разве ж это народ? Ничтожный, рыхлый народ, прямо сказать — песок сыпучий. Ты его только шалтани, а уж он бежит, как вода из рукомойника. Ей-богу!..

После недавних страхов мы жадно впитывали эти бодрые речи, и когда, как бы в подтверждение слухов, был неожиданно получен приказ вернуться на старые стоянки в Тарногуры, армия опять несдержанно верила в себя. Передавались самые удивительные вещи. Необыкновенную популярность приобрели казаки, которым приписывали массу блестящих подвигов. Успешно устраняла все препятствия на своем пути наша артиллерия. И на каждом шагу подвергалась посмеянию неповоротливая австрийская пехота. Но перед самыми Тарногурами,

в Избице, нас поразила первая сумрачная неожиданность: здесь дожидался ординарец с предписанием... отойти к Красноставу. Двое суток, без отдыха, днем и ночью бросали нас вперед и назад.

— Да что они смеются над нами? — негодовали офицеры.

Солдаты, не зная ни имени корпусного командира, ни даже того, к какому мы корпусу причислены, с убеждением передавали в своих беседах:

— Вишь ты какую штуку придумал: командир-то корпусный — немец, на ихнюю сторону передался, вот и гонят нас до устатку на истерзание, силу последнюю вымаривают...

К вечеру 16 августа, после четвертого отступления от Избицы, наше изнурительное движение неожиданно приняло характер панического бегства. Трудно сказать, почему и откуда хлынуло это внезапное отчаянье, но что-то зловещее завертелось, завихрилось, как снежный буран. Опять смешались люди, лошади, зарядные ящики, двуколки и трагические фурманки перепуганных жителей. Дисциплины как не бывало. Ни армии ни командиров. Это был сброд усталых и голодных людей, ежеминутно готовых превратиться в дикий порывистый поток.

Кругом пылали пожары, гремели пушки. Мы не знали, кто справа, кто слева... И когда

*

наступила ночь, в оглушительном гуле безостановочно ползущих обозов вспыхнули мрачные предчувствия. Трудно вырваться из цепких пальцев паники в такие минуты. Нервы безгранично напряжены. Кажется, кто-то гонит всю армию навстречу полному истреблению. В темном кругу испуганных и сбитых с толку солдат распускаются нелепые, навязчивые бредни. Все с затаенным ужасом ждут неминуемых, всюду подстерегающих бед. И вдруг свирепо, пронзая темноту, рванулся оглушительный крик:

— Втикайте! Вбывають! Кавалерия сзаду!..

Мгновенно, как смерч, закрутились дикие вопли. В воздухе засвистели кнуты и ругательства, хлесткие, как нагайка.

— Р-рысью! — кричали люди обезумевшим голосом.

— Рысью! Передавай дальше! Р-рысью!..

И масса вооруженных людей, повинуясь безумному приказанию, ринулась вперед. Задевая и опрокидывая повозки, бешено мчались в темноте зарядные ящики и двуколки. Слышно было, как трещат и ломаются оглобли, как стонут подмятые под колеса люди.

— Вбивають! Из пулеметов бьють! — ревела обезумевшая толпа. — Рысью! Передавай дальше! Рысью!

Но движение с каждой минутой становилось все затруднительней. Во многих местах образо-

вались людские заторы. С гиком и свистом мчались какие-то кавалерийские части и, врезаясь в гущу обозов, кричали хриплыми голосами:

— Вали, ребята, вали!

Где-то далеко сзади затрещали ружейные выстрелы, заметались озлобленные вопли:

— Чего стали? Чего дорогу загородили? Руби постромки!

И мгновенно по всей толпе покатилось зычными перекатами.

— Постромки!.. Р-руби постромки!

Я сидел на артиллерийском возу, куда забрался еще с вечера, измученный усталостью и бессонницей. Два солдата, бывшие со мной на возу, наскоро пошарили в сене, соскочили на земь и, повозившись с минуту в темноте, вдруг ускакали на лошадях, бросив меня на распряженном возу среди дороги. Боясь оторваться от своей части, я спрыгнул с воза и, наткнувшись на кучу щебня, стремительно скатился в канаву. В канаве было темно, как в погребе. Оглушенный падением, я не мог разобрать, в какую сторону отступают войска. До меня доносился сверху только скрипучий грохот колес и гул тяжелых шагов, похожий на биение гигантского сердца. Выбраться из канавы на дорогу без посторонней помощи не было никакой возможности. И вдруг где-то близко услыхал я голос моего денщика:

— Ваше высокородие, чи вы тут?

— Ты здесь, Коновалов? — обрадовался я.

— А як же! Хибаж я вас покыну? — спокойно ответил он и помог мне выбраться из канавы. Мы присели на куче щебня, и между нами произошел такой диалог:

— Втикаймо, ваше высокородие, втикаймо!

— Как же мы бросим свою часть?

— А нȁ що вона нам здалась?

— Ведь мы дезертирами будем.

— Так що ж?

— Если все дезертирами станут, то кто ж будет воевать?

— Хиба ж цэ война?.. Ваше высокородие, втикаймо, бо нас убьють.

Не без труда удалось мне убедить Коновалова, что до смертного часа еще далеко. Натыкаясь на брошенные зарядные ящики и опрокинутые повозки, зорко следя друг за другом, мы долго барахтались в обозном потоке, долго и медленно ныряли по ухабам, провалам и косогорам измочаленного шоссе, и я боюсь, что в эту темную ночь в недовольную голову Коновалова закрались странные мысли.

На рассвете нагнал нас Ковкин, ординарец, оставленный при штабе дивизии для связи, и передал предписание вернуться в Холм. Было немного стыдно за свое трусливое бегство, но

в то же время от этого распоряжения ключом забила шумная радость.

Пронзительно-громко загремели железными языками повернувшиеся зарядные ящики. Тверже зашагали солдаты. Смело и осанисто сидели в седлах ездовые и офицеры...

В Холме спокойно и людно. Слухи один другого отраднеи. Говорят, что штаб нашего корпуса давно в Красноставе, а штаб дивизии в Избице; что армия Рузского разбила австрийцев на-голову; что мы приближаемся в Перемышлю. На станции много чистеньких офицеров («пупсиков», как их здесь называют), кичливо разгуливающих по перрону и всем рассказывающих о наших мнимых победах. Но рядом с праздничным ликованием ползут печальные вести. Придавленным шопотом передается из уст в уста, что пруссаки неожиданно бросили на нас огромную армию, что они в два дня придвинули 300 эшелонов и разбили нас вдребезги под Кенигсбергом. Говорят, что убит генерал Самсонов, что в плен захвачено множество штабов и что на станции Травники (под Люблином) происходит жестокий бой, от исхода которого зависят наши дальнейшие успехи «на поле битвы».

Газет нет. С запада приходят поезда, переполненные ранеными. У носилок, рядами расставленных на полу, толпятся взволнованные зрители. Слушают огромного капитана с ко-

лючими усищами, который орет диким голосом:

— Это чорт знает что!.. Солдаты по шесть дней ничего не ели. Офицерство сырой капустой питалось. А транспорты чорт знает где шатаются...

Тут же на вокзальном полу, рядом с ранеными солдатами, сидят семьи беженцев, испуганные и растрепанные еврейки, окруженные выводками костлявых детей.

Ужасающий лик войны — с ее нищенством, унижением и безнадежной печалью!.. Печаль и опустошение неотступно следуют по стопам нашей армии...

Мы снова заняли квартиру начальника движения на вокзале и с раннего вечера завалились спать.

... Утром 23 августа нас разбудила шумная деловая возня: привели австрийский обоз, захваченный гренадерами. Лил дождь, было грязно и ветрено и в воздухе пахло осенним неуютом.

Понуро стояли пленные — целый баталион, с офицерами и полковником во главе; денежный ящик, канцелярия, два воза винтовок и свыше 50 лошадей.

Кучка наших солдат и офицеров, как на ярмарке, окружили пегую, сухую, нервную лошадь, благородную морду на тонкой шее, и убеждали начальника обоза на все лады:

— Подумайте! В походе! Куда вам с ней возиться? На что она вам? Продайте! Вы сто других достанете впереди...

Но офицер сердито отмахивался, повторяя в двадцатый раз:

— Не могу, не могу! Я дал честное слово лейтенанту по окончании войны вернуть ему лошадь: это призовая.

— Ну, вот... Когда еще это будет, — смеются в толпе.

— Не бес-по-кой-тесь, — отвечает с апломбом офицер, — не дальше, как через три месяца... С математической точностью... На рождество все дома будем!..

Вдоль полотна в теплушках сидят раненые солдаты и мирно беседуют с таким же ранеными австрийцами. Из вагона с белою надписью: «тяжелые» меня окликает взволнованный голос:

— Ваше благородие, прикажите этого австрияка в 3-й класс положить, а то шибко мучается грудью.

И тут же распахивает шинель на австрийце и показывает забинтованную окровавленными тряпками рану.

— Уж не ты ли его ранил? — обращаюсь я с бесстыдным вопросом к солдату.

Солдат смотрит мне прямо в глаза и отвечает сурово:

— Которые мной побиты, те там и остались... На мне греха нет... А и есть, не мне прощенья просить у него... Не мы приказывали... Начальству — тому, вон, пожестче будет.

Третьи сутки в походе. Война странно врезалась в мирный быт. Выступаем в такие ясные, погожие утра. Ползет туман над лугами. Красиво блестят озера, и стайками купаются утки в камышах. В чинной задумчивости бродят высокие аисты по лугу. Через дорогу перебегают белочки и шустро карабкаются по соснам. Крестьяне пашут...

Но земля всюду изрыта воронками, и свежепритоптанные холмики, иногда увитые венками из полевых цветов, говорят о братских могилах — о следах недавних сражений. Да жирное, черное воронье кружит над полями; да неубранная конская падаль, да сверкающие на солнце обоймы, гильзы и обломки стаканов... Кой-где торчат обгорелые трубы домов. Впереди рычит канонада.

Навстречу с утра до ночи тянутся бесконечные фуры раненых. У них либо тупые, угрюмые, одеревенелые лица, либо детские, радостно сияющие глаза и до ушей расплывшаяся блаженная улыбка. Первые неохотно вступают в разговор, ответы их односложны и скорбны. Все рисуется им в сумрачных красках:

— Усе разбыто... Усі повтікали, сгінули... Він прёть, як скаженный...

От будущего они не ждут ничего утешительного. Но другим раненым все рисуется в розовом свете, и ответы их точно рассчитаны на корреспондентов ура-патриотических газет. Шумливые, радостные, они бестолково размахивают руками и словоохотливо хвастают:

— Не сдержать ему против нас, не может того быть. И народу в его не хватит! Уж сколько его набили — и слов нет. Да и пужливый он больно. Только страх да плен в уме держит.

— А наши?

— У нашего солдата нрав легкий. Наш солдат в бой идет — радуется. У нашего солдата к бою сердце горит...

Такой оптимист спешит поделиться своим восторгом с первым встречным, старается излить свое воодушевление в потоках словесного героизма. А жадная рать корреспондентов слушает, восхищается, записывает и публикует по двугривенному за строчку... Так создаются незаконнорожденные герои и слагаются дешовые мануфактурно-патриотические легенды в газетах.

... Вечером 27 августа пришли в деревню Бзовец, переполненную парками всех родов. Тут же 5-я тяжелая батарея, посланная в под-

крепление правого фланга, откуда никак не удается выбить австрийцев. Воздух наполнен ликующим оптимизмом. Цветут и вянут всевозможные слухи. Рассказывают о бегстве австрийцев, о пожарах, о колоссальной добыче, доставшейся нам, но которой мы не воспользовались за недостатком перевозочных средств, а должны были спалить целые горы винтовок, ящиков, бочек и прочей клади. Солдаты, закутанные в австрийские одеяла, пьют чай у костров и лакомятся неприятельскими галетами.

Они болтают на языке, изобилующем бесцеремонными откровенностями и сопровождаемом такой жестикуляцией, от которой слова на губах и пальцах читаются прежде, чем они произнесены, и возбуждают столько беззаботного хохота, как будто чаепитие происходит не на чужой стороне и под двухсторонний грохот орудий, а среди деревенского покоя, убаюканного праздничным звоном колоколов.

Ночевал я в хате польского мужика, который докучал мне однообразными жалобами. Растерянный, под всхлипывание баб, рассказывал он, как обирают его солдаты, выкапывают до последней картошку и на горькие сетования, что ему нечем будет прокормиться зимой, равнодушно отвечают:

— Поляцка картошка не наша, чорт с ней, а ты хоть сдохни.

С жадностью слушал хозяин мои щедрые уверения, что казна заплатит за все убытки. Даже заплаканные бабы, забившиеся в угол, стали прислушиваться к моим обещаниям, которые я расточал не скупясь, чтобы хоть сколько-нибудь рассеять молчаливую, скрытную, но грозную враждебность этих людей.

— Дней десять назад, — рассказывали укоризненно бабы, — тут австрияки были; австрияки ничего не тронули, а свои обижают.

Утром, расставаясь с хозяевами, спрашиваю:

— Ну что, наши солдаты не обижали?

— Никак нет, эти добрые, не грабят.

Говорит и сам в землю смотрит, а старая женщина с белыми губами добавила злобно:

— Ты у них в мешках пошукай: сюда ехали,— легкие были, а теперь поднять не могут...

... Влажными клочьями низко висит туман на домах и на ветках. Крестьяне провожают тревожным напутствием:

— Мимо Китова осторожней: на той дороге все обозы обстреливают.

... По вязкой, грязной дороге с трудом дотащились до маленькой, жалкой деревушки со странным названием: Завалье-Загробье. Название больше самой деревни, — острили солдаты. Заняли домик у дороги. Чистая, беленькая

светелка с окнами в палисадник с поникшими астрами и пионами. Прямо из палисадника виден городок Туробин, сожженный австрийскими снарядами. Городок довольно большой, с костелом и церковью, с двухэтажными каменными домами, от которых сейчас остались обожженные дымоходы и железные стропила балконов. Вдали полукругом раскинулись высокие горы, откуда вчера еще обстреливали Туробин австрийцы.

В деревне пусто и бедно. Улица усеяна гильзами, пустыми обоймами и осколками шрапнели. Луг весь в воронках. Издали гулко доносится привычное буханье канонады. Все привыкли — и солдаты и жители. Гремят орудия, белеют дымки разрывов, вспыхивают огненные зигзаги орудийных раскатов и зажигают заревом небо, а люди с будничным спокойствием работают, едят, ругаются, шутят. Еще на прошлой неделе я не понимал, для чего солдаты тащут в окопы солому и сено и думают о житейских удобствах, когда через час-другой половина их, быть может, умрет. А теперь я отлично знаю, что человек не может вечно думать о смерти, и те часы, которые остаются ему для жизни, он хочет прожить как можно легче, удобнее и беззаботней.

Да. Но эти удобства приходится отрывать зубами у населения. Никому нет дела до наших «патриотических» подвигов. Мы два враждующих мира: солдаты и население. Отношение

к нам недружелюбное, злое. У жителя, у этой мрачной фигуры с боязливым и беспокойным взглядом, ничего не выпросишь и даже за плату не добьешься. Отчего? Не знаю. Может быть, и им надоело сражаться со своими солдатами на собственной земле? Кланяются с невыносимой приветливостью, но на каждом шагу дают тебе чувствовать, что с тобой воюют. Те, что сантиментально идеализируют войну и пишут в газетах о радостных встречах с хлебом-солью, увы, бессовестно лгут. Из-за каждой картофелины, из-за сорванного солдатами яблочка поднимается убийственный шум, бегут жаловаться командирам, вопят, что их разорили. И нам в укор, постоянно ссылаются на гуманность австрийцев, расписывая, как те им и поля обрабатывали на своих лошадях, и хлебом своим кормили, и ни одной травинки не тронули; а мы-де все грабим, воруем и разоряем. И какие взгляды при этом кидают в нашу сторону! Кто разберет, что таится за этой ненавистью?..

Конечно, мало приятного в сменяющихся потоках солдат, когда одна волна насильно вытесняет другую и все уносит, смывая налаженное годами хозяйство. Но было бы очень рискованно утверждать, что война не приносит «мирному жителю» ничего, кроме горя и разорения. Разве мы не платили за скот, за птицу, за сено, за все кормà? А гужевые работы? В теории

все это оплачивается и оплачивается вовсе неплохо. А мародерская прибыль? Погреба набиты винтовками, подобранными на полях после боя. Солдатские ранцы, шинели, подсумки, сапоги и прочая амуниция — ведь это все очень ходкий товар на всей прифронтовой полосе. Кто-то и здесь «кулачит»; кто-то и тут, на фронте, умеет вымаклачить копейку на человеческой крови. В каждой деревне имеются десятки мародеров-«трупятников», обирающих трупы убитых, которые потом по суткам валяются неубранными. По ночам по всем дорогам тихонько прокрадываются крестьянские подводы, где под сеном лежит награбленное у мертвых добро. Понятно, бросая эти крохи, война не спасает всего остального населения от ужасов боевого разгрома.

Когда идет бой, деревня скрывается в погребах и картофельных ямах. Это особые подземелья, вырытые в здешних горах на протяжении многих десятков саженей. В них все заготовлено для долгой осады, начиная от хлеба и воды и кончая оружием. В двух таких ямах солдаты откопали до сорока винтовок с патронами. Очень похоже на то, что при тщательных поисках в этих ямах вместе с картофелем можно обнаружить целые арсеналы.

... Чуть светало. На западе уже гремели пушки. Восток нежно алел, обливаясь теплою кровью. Утренний ветер шелестел в оголенных деревьях, и воронье стаями штук в полтораста неслось на запад.

А светлая осень льнула к умирающей земле. На березках струились и трепетали золотые зазубренные кружочки. Человек восемь крестьян с лопатами и холстами шли в том же направлении, куда летели вороны; шли хоронить убитых. За ними, весело махая хвостом, бежала деревенская жучка. Я спросил: где рвутся снаряды?

— Там, за горкой, в лесочку, где хоронят...

И пошли дальше спокойно и деловито, вероятно, не думая о смерти.

Сегодня штаб дивизии передвинулся из Туробина дальше. В полдень канонада утихла, и мы в большой компании чужих офицеров осматривали окопы. Маскировка приводила пехотинцев в восторг. Вся передняя пасыпь (эскарп) укрыта ветками и травой. Сверху сплошные, крепкие крыши из массивных бревен и досок, сбитых большими гвоздями и плотно утрамбованных глиной. Внутри, в глубине, просторные, четырехъярусные окопы, слитые узкими коридорами и рвами в длинные ряды извилистых

галлерей, которые тянутся вплоть до самого леса. Поближе к лесу окопы маскированы клевером и гречихой. Местами окопы разворочены, и видны торчащие из них доски, обломки сараев, палисадников и чугунной кладбищенской ограды. Всюду ломаные винтовки, шрапнельные стаканы, окровавленные фуражки на одиноких крестах, австрийские патронташи и гильзы. В некоторых окопах устроены лежанки для перевязок, прибиты куски картона с именами врачей. Большие ржавые пятна и клочья ваты и марли говорят, что работа была большая.

Мы идем по зигзагам окопов, и кто-то задумчиво произносит:

— Пишут, пишут умные книги, а чуть что — лезь в яму и жди в ней погребения как дохлая лошадь.

— Д-да, хитрая штука, — отзывается Кузнецов. — Выходит шайка разбойников, она так и говорит: грабить идем. А идут на грабеж солдаты — тут и умные книги, и отечество, и родина, и проблемы... Видно, под умные слова легче потрошить людей.

Стоим на окраине Туробина.

Всю ночь шел дождь. Палатки намокли, дороги в лужах. Грязно, холодно, хмуро. Но по всей деревне какое-то странное оживление.

Допытываюсь у крестьян, в чем дело. Все в один голос твердят:

— Кажут, хранцуз прусса разбил.

— Кто сказал?

— Туробинский слесарь.

На лицах евреев, пугливо метавшихся по местечку, я читал мучительно-жалкую растерянность. Я долго бродил по грязным, полуобгорелым кварталам, наблюдая, как согбенные старые евреи покорно уступают дорогу каждому солдату, как заискивающе выслушивают каждый вопрос и вздрагивают от каждого сурового взгляда. И под конец мне стали чудиться какие-то погромные призраки. Мне казалось, что казаки с вызывающей наглостью указывают пальцем на еврейские лавки. Мне вспомнилась ненависть, которая кругом так несдержанно клокотала во всех разговорах об евреях. И вдруг я понял страдальческое выражение еврейских лиц. Здесь, на войне, ненавидят только евреев. Начальства боятся, неприятеля убивают, поляков ругают, а евреев преследуют с беспощадной, оскорбительной ненавистью. Любое еврейское местечко, в котором расположились солдаты, это — воистину город мучеников. Кто видал эти костлявые тощие фигуры, эти приниженные лица, полные скорби и ужаса

глаза, — тот знает подлинный ад со всеми его смертными муками.

В тесной конурке нашей стоял дым коромыслом.

Играли в карты, бренчали на гитаре, спорили.

Мне было все равно. Скинув наскоро платье, я повалился на кровать. Убирая грязные сапоги, Коновалов успел мне сообщить:

— Ваше благородие, увечером завтра, в шестом часу, выступление.

Вещи были уложены, чай допит. Торопливо отдавались последние приказания: подпруги затянул? термос в кобуры положил? В эту минуту с сумкой через плечо и в шинели, высоко перетянутой ремешком, ввалился Ханов и мрачно доложил командиру:

— Ваше благородие, жиды из местечка до вас крайность имеют, видеть жалают.

— Гони их в шею, — раскричался командир. — Скажи, что выступаем.

— Я им объяснял, а они свое ладят: очень дело большое. И рабин с ними.

— Ну, зови их, пускай войдут.

В комнату вошли три древних еврея. Один сухой столетний, трясущийся. Все трое больше похожие на привидения, чем на людей. Белые,

в длинных балахонах, они повалились в ноги офицерам, и самый древний с длинной до-желта седой бородой, торопливо зашамкал, что в Туробин вошли казаки и грабят еврейские лавки. Жители умоляют вмешаться и прекратить погром.

Лица у офицеров вытянулись, окаменели. Жестким голосом командир повторил два раза:

— Мы ничего сделать не можем. Вы видите— мы уходим.

— Пане, я вас прошу, вы только выйдить до них, — твердил умоляющим голосом старик.

— У казаков свое начальство. Просите его.

Но старцы не уходили. Перебивая друг друга, волнуясь и через силу, с застывшими в горле воплями, но с твердой верой в правоту своих слов, они бросали в лицо нам тяжелые упреки, горько кричали о жестоких солдатах, о жертвах, о невинных младенцах.

Было невыносимо тяжело смотреть, как эти старцы валялись в ногах и тощими руками удерживали уходящих офицеров.

— Як, не вы, то хто же... хто же нас буде ратовать? Наши диты тэж на войни бидують. А нас грабують... ваши жолнежи нас грабують...

Офицеры молчат. Три старых еврея, кряхтя, поднимаются с пола и молча уходят.

Как мучительно тихо в комнате! Я вижу в окно трех стариков в развеваемых ветром капо-

тах. Напружив сгорбленные костлявые спины, они плетутся в гору, к Туробину.

В комнате снова суета. Входят, уходят, распоряжаются. Громко разговаривают о фураже, о подковах.

— А не послать ли туда дюжину ездовых с нагайками? — бросает задумчиво Кузнецов.

— Все равно, — отвечает уныло командир, — этих прогоним, через час другие начнут.

Я смотрю на запад, где грохочут орудия.

— На коней, — несется команда адъютанта.

СЕНТЯБРЬ, 1914 г.

... Вторые сутки стоим в помещичьем доме. Мимо нас проходят транспорты и обозы, а мы все стоим. Место унылое, сырое. Деревня бедная, разоренная долгими стоянками австрийцев и наших. Жители забиты, напуганы. Днем рыщут в поле, подбирают гнилую солому из окопов.

С вечера деревня погружается в жуткую тьму. Та-та-та, та-та-та — доносится стрекотанье пулемета. Мокрые луга тяжело дышат туманом. Нищие хатки прижались к темной земле. Только над обозною кухней выделяются керосиновые факелы и, то укорачиваясь, то удлиняясь, разбрасывают тревожные искры.

Проходит час, два — и тухнут последние признаки жизни.

— Обесчувствели, — говорит Коновалов.

Через весь наш лагерь иду в гости к хозяевам. Иззябшие солдаты спят под возами и в намокших палатках. Лошади, чтобы согреться, прижимаются тесно одна к другой и стоят, понурив большие умные головы, тоже погруженные в печальные думы. Часовые, изнемогая в борьбе со сном, тупо всматриваются в гнилую тьму и, взбадривая спящую мысль, решительно звякают винтовкой. Только из помещичьего дома сквозь закрытую ставню тянется мягкая серебряная полоска и смутно доносятся медленные, недоговоренные слова.

Вхожу в столовую под радостный лай собак и громкие приветствия хозяев. Хозяева — пожилые, милые люди. Мужу пятьдесят три года, жене — сорок восемь. Со вчерашнего дня я знаю всю их родословную — со всеми предками и потомством. У пана Компельского три сына. Старший окончил сельско-хозяйственный институт и юридический факультет, занимался сельским хозяйством, но имение его (поблизости) сожгли, разорили, и сейчас он уехал в Люблин. Средний кончает академию художеств в Петрограде. Хорошо рисует; специалист — архитектор. Младший — студент-медик в Лозанне. Дочь замужем за московским приват-доцентом.

Дом большой, просторный, уютно обставленный. Типичное польское гнездо. Стены в портретах. Над камином бюсты Мицкевича и Сенкевича. Тут же неизбежный Собесский и Костюшко. У последнего прекрасное лицо, лучше, чем на обычных олеографиях. Широко раскрытые глаза устремлены вперед и точно стараются в скорбях грядущего предугадать судьбу своего народа.

— Работа сына, — не без гордости роняет старик.

Пан Компельский учился в русском университете. Говорит без акцента по-русски. У него веселое лицо и ласковый тон хозяина-хлебосола. Он рассказывает, что дней за восемь до нашего прихода у него стояли австрийские офицеры и хвастали: заставим русских подписать мир в Петербурге. А через три дня удирали во все лопатки. Он высказывает много соображений об исходе этой войны и ко всему относится с умудренностью человека, для которого все слагаемые всемирной истории просты и непреложны как голод, как неизбежность, как смерть.

— Будет — что будет, — повторяет он насмешливо-равнодушно. — У жизни всегда есть свежая бочка хорошей старки.

Оттенок меланхолического остроумия лежит на всем, что говорит этот приятный, умный старик, проведший, должно быть, много часов со

своими старинными, переплетенными в толстую телячью кожу, польскими книгами.

Когда я отстаиваю программу союзников, он, как человек, давно излечившийся от предрассудков, иронизирует:

— Э, пан доктор, сейчас — как в госпитале: ни погон ни чинов, все в больничном халате. А как встанут с больничной постели, забудут все обещания и опять вычеркнут эти хорошие слова: равенство, малые народности, возрождение Польши... Будет — что будет, пан доктор.

Мне отведена комната во флигеле, где царствует пахучая тишина старины, и маятник глухими певучими ударами лениво подтачивает время. На всех вещах этой комнаты лежит печать чуть цветистой задумчивости, родственной воззрениям хозяина. Они что-то давно постигли, давно примирились со всеми временными нелепостями жизни, и сквозит в них тоже дух остроумия и сдержанной грусти. Осол бенно занимают меня эти старинные часы, из сокровенной глубины которых с каждым протяжным вздохом маятника седое время задумчиво поддакивает седеющему пану Компельскому:

— Будет — что будет...

В начале шестого часа меня разбудил ординарец Ковкин, который привез предписание на-

шему парку от командира бригады: спешно передвинуться в Обшу и присоединиться ко всей бригаде, явившейся недавно из Киева. Путь предстоял далекий — через Грудку — Горай — Радечин — Абрамовку — Терешполь — Костельную — Луковку — Бабицы и целый ряд фольварков. День стоял ясный. Дорога подсохла. Мы шли по полям недавних боев. Горбатым зигзагом тянулись по равнине окопы — немые свидетели вчерашних трагедий. Но все кругом — и солнце, и люди, и зеленые луговые ковры — радостно улыбалось.

Третий день все идем, идем по грязным дорогам. И в зависимости от того, хлещет ли дождь, светит ли солнце, мы чувствуем себя то пламенными освободителями угнетенных народов, то праздными и жестокими угнетателями. Миновали Фрамполь — грязное еврейское местечко, нищее и голодное, с перепуганными долгополыми евреями и улыбающимися девушками в шелковых ажурных чулках. Одолели песчаные косогоры у Соколовки, зарезали лошадей (у некоторых кровь так и хлещет из ссадин под хомутами), замучили людей и погрузились в усталое и скучное безразличие. Мелькают люди как тени; падают лошади; валяются по дорогам походные кухни, ящики, двуколки. Изредка попадаются выжженные до тла деревни. Но все это не трогает,

не волнует. Война совершенно утратила свой патетический облик и превратилась в серые тяжелые будни. И чем сильнее усталость, тем больше злости и раздражения в солдатах. Выступает наружу неодинаковость этих сотен людей, сгруппированных в одну единицу. «Часть» распадается на части, и целое перестает быть цельным. «Чтобы армия могла воевать, — говорят французские полководцы, — у каждого солдата должно быть в желудке по фунту мяса». К этому следует добавить: и по восьми часов крепкого сна перед боем. А мы встаем на заре и до глубокой ночи барахтаемся в непролазной грязи, греемся у костров из деревенских заборов и ночуем в сараях, где тухнут свечи от ветра...

... Идем через Белгорай. Старый, но очень приветливый городок с мощеными улицами и двухэтажными домами. Много лавок и вывесок. Любопытные лица. Толпы детишек бурно выражают свои восторги. Кажется, это первый случай радостной встречи. На перекрестке две старые бабы поднесли нам лукошко незрелых яблок. (Вот и толкуйте, что мир не нуждается в военных героях и что Цезарь с Наполеоном — только честолюбивые убийцы!)

Странно: солдаты не любят городов и, кажется, смотрят на них как на прозаическую

безвкусицу. В каждом их слове слышится деревенская непримиримость.

— От камня дыхнуть не можно... Защемили камнями землю, позабивали травку и жмутся друг ко дружке как тараканы, — повторяют они с видом людей, убежденных, что истина только в деревне.

Толстой прав безусловно: война чрезвычайно располагает к мысленным диалогам. Каждый из нас, если не склонен к беседам с самим собой в стиле Андрея Болконского, во всяком случае ведет в уме свой дневник.

Иногда мне удается поймать на-лету загадочную солдатскую фразу:

— Н-не... теперь дураками не будем... винтовок начальству не отдадим...

— Супротив кого война надобна! Для ча весь свет пушками рушить! Больно народу много на земле развелось, бедных людей истребить хотят...

Услышишь мимоходом такую фразу и невольно потянешься к солдатам. Но, когда к ним подходишь, они отмалчиваются или, крепко выругавшись, настегивают лошадей. И еще острее почувствуешь свое одиночество среди этих сотен людей.

Пробовал я навязываться с беседой. Подхожу к рыжеусому номеру и задаю обычный вопрос:

— Какой губернии?

— Курской.

— Женатый?

— А как же.

— Об доме скучаете?

— Кровь-то родная. Троих деток оставил.

— На войну итти не хотелось?

— От войны, как от смерти, не спрячешься. Через всю Россию война раскинулась.

И, стиснув зубы, он сплевывает и спрашивает официальным тоном:

— Дозвольте, ваше благородие, закурить.

Я чувствую себя дурак-дураком и подхожу к другому:

— Земли много? До войны жилось хорошо?

— Наше житье известное: хрестьянское. В бедноте да в тесноте.

И всюду натыкаешься на это сухое и неприветливое недоверие, на каждом шагу встречаешь явное желание повернуться к тебе спиной. Солдат не враждебен, не зол, а замкнут или глубоко равнодушен к офицеру. Нет в нем любопытства к нашей жизни и не хочет он, чтобы мы читали в его душе. Шагает он большими шагами, рядом с нами, делает все, что прикажут, услужлив, понятлив, но в глазах ни искорки братского сочувствия. А подслушаешь издали — смеются, хохочут, говорят. И ловишь изредка на-лету:

— Ой-ой, что буде! Растопили душу крещеную как жаркую печь, большой покос себе уготовили... Дай только замирения дождаться.

Только Асеев иногда удостаивает меня откровенным словом и поощрительно говорит:

— Ты, ваше благородие, солдат понимать выучись... Ты ему каплю жалости, а он тебе морем любви ответит.

Да Коновалов другой раз скажет многозначительно:

— Мужик усё понимает. Промеж нас тоже есть которые растолкованы...

И невольно вспоминаешь Толстого: как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, весна осталась весною...

... Дождливо, грязно и холодно. Еду в санитарной линейке — стопудовой колымаге, которую с трудом передвигает четверка артиллерийских тяжеловозов. Скрытый полотнищами линейки, я прислушиваюсь к разговору солдат. Тема самая злободневная: замирение.

— А ему ты думаешь сладко? А ему-то мед, по-твоему, вошь в окопе гонять? — горячится кто-то из спорщиков.

— Не, не скажи. Наше дело куда жестче выходит. Перво-на-перво немцу все помогают: ему австрияк, ему и турок. Турция, вон, супротив России войну открыла. У немца начальство хитроватее нашего будет. Немцы все башковитые, без помехи работают...

— Ему Турция, а нам Италия помогает. Итальянец почище турка. И австрияку спуску не даст. Австрияк — видишь, какой он есть: шинелишка ветром подбитая, ноги тесьмой замотаны. Разви можно? Такой от холоду сдохнет. Здоровая баба такого раздавит.

— Правильно. Мне жидок один сказывал: замирение скоро. Да ён вишь торгуется. Наше министерство требует всю выплатку (контрибуцию) за два года, а ён хочет рассрочкой — на двадцать лет.

— Ду-урак, ты дурак! Ты думаешь немца кто пересилит? А ни одна нация в свете! Ты не считай, что он теперь отступает. Это он крутит, кровь полирует. У него, окромя как вредного, ничего в голове и нету. Скотину всю свел, кормà забрал. Австриец тоже!.. Фуражка ковшом, а глаз лютый. Мне мужики переказывали, отходил — грозился: скажите русским, хорошо они угостили нас, но и мы же их угостим, когда к нам придут.

— Чего зря загадывать. Не сгинет русский мужик. И немца, как бить — дознаемся, силу его одолеем.

... Через густой, бесконечный лес выбираемся на открытую поляну. Вверху все утопает в теплом тумане, внизу — густая непролазная грязь. Впереди боевых колонн идут рабочие отряды с саперами и выравнивают дорогу. Но

грязь мгновенно засасывает бревна и щебень, и поминутно приходится делать долгие остановки. Пробуем итти боковиной — луга̀. Всюду застрявшие автомобили и дохлые лошади. Холодно, скучно и жутко. Все ходят сгорбившись, злые и недовольные, насквозь пропитанные матерщиной, которая превращается в скверную, затяжную болезнь, прилипчивую как оспа. Ругаются все: командиры, солдаты, доктора, — и все одинаково.

— Ну, поддайсь, пять — двадцать пять... мать — мать — мать! — несется звонкая ругань, и здоровенный солдат безжалостно лупцует нагайкой по запотелым конским бокам.

— Ишь, какой дух густой, совсем коня заморил, — с жалостью замечает другой солдат, Прядкин, — все жилы дрожат.

Я люблю этого солдата. У него независимый ум, в суждениях — строгая логика и такой богатый и гибкий словарь, что перед ним я чувствую себя нищим. Зовут его все Семеныч.

Вверху — сплошная, безотрадная муть; внизу — черный, промозглый омут; на душе — одиночество. Сталкиваюсь глазами с Семенычем, который говорит не спеша, добродушно усмехаясь:

— Теперь бы в постельку мягкую, да закусить, да выпить, да чайку с калачом. Хлеба̀ у нас вкусные; дома — и пироги, и блины, и оладьи,

а здесь хоть бы кожу вареную пожевать — и та по вкусу.

— Хоть бы не ругались, и то легче было б, — невольно впадаю я в слезливость.

— Ваше благородие, — говорит певуче Семеныч, — на войне служить — не барышней любоваться. Лютеет душа у человека. А иному крепкое словцо ровно крепкое винцо: и дух веселит, и за душою гнилое не остается... Слово матерное что? Сплюнул — и нет его. Обращение матерное — вот он где грех, да помыкание...

И в тоне Семеныча звучит суровый укор.

Мне вспоминаются «бытовые явления». Вспоминаются прапорщики, вчерашние следователи и агрономы, жадно и грубо издевающиеся над каждым солдатом. Особенно этот чванливый черносотенец Растаковский — рослый, сытый, горластый судейский, невероятный драчун и похабник. Приходят на память его ратные подвиги: как он сытый, объевшийся, сидя на завалинке у дороги, остановил высокий артиллерийский воз, в котором сидели запыленные солдаты, и с дикой бранью накинулся на простоватого парня, державшего в одной руке хлеб, а в другой кусок сала.

— Ты чего, так-то и перетак-то, чести не отдаешь?.. Нагнись, сукин сын, нагнись!..

И хлестал своей тяжелой рукой по щеке нагнувшегося солдата.

Вспоминаются и другие моменты походной обыденщины. Эти зуботычины, раздаваемые направо и налево, эта ежеминутная готовность ругнуть, унизить, дать сапогом в зубы... Неужели без этого нельзя?.. А у французов у немцев?..

Неужели и там так?..

... Чудом дотащились до Тварди.

Впереди крохотной деревушки колоссальные укрепления из блиндажей, выложенных огромными бревнами и покрытых жестяными полусводами. Густая сеть проволочных заграждений тянется отсюда до самого горизонта. Через бесконечные коридоры окопов, блиндажей, утрамбованных насыпей и выложенных жестью канавок мы добираемся до большого помещичьего дома с двумя зияющими отверстиями в стенах. В красивых, высоких комнатах следы совершенно бесцельного разгрома и вопиющей хамской разнузданности. Из-под крышки раскрытого рояля несет зловонием. На полу обломки фарфоровой посуды, изорванные ноты и книги, загаженные польские и немецкие журналы, опрокинутые вазоны, столы и шкафы. Иду из комнаты в комнату — и всюду та же картина: настежь раскрытые буфеты и опустошенные ящики комодов. Нет ни белья ни платья. Уцелели только

постельные матрацы, одинокие зеркала и большие вазы с фарфоровыми крышками. На матрацах и в вазах те же удушливые следы азиатского цинизма.

Прекрасное, хотя и разрушенное снарядами помещение, превращено в клоаку, в которой дух спирает от вони. Располагаемся для отдыха под открытым небом. Но это грязное хулиганство принимается как молодецкая шутка.

— Натешились,—хохочут солдаты.—Верно, казачки погуляли. После ихнего брата мокренько и грязненько бывает. Ни одной посудины не забыли... Казак—он страху нагонит. Он на лихое дело, как на небо, летит.

В воздухе сыро и холодно. Солдаты раскладывают костры. Из дома доносится треск ломаемой мебели. Из костров торчат лакированные ножки столов и спинки кресел. Ярко вспыхивают подбрасываемые в огонь журналы, ноты и письма. Откуда-то появляются новенькие сосновые кресты.

— Это откуда? — спрашивает Кузнецов.

— Да там их целые пачки, — отвечают солдаты.

Действительно, за домом вместе с мотками запасной проволоки, бревнами и блестящими грудами жестяных прикрытий лежат заготовленные связками сосновые кресты для братских могил.

*

— Вы бы хоть кресты-то по-христиански пожалели, — говорит с укоризной Пухов. Весь он длинный, мягкий и кроткий, и в глазах его светится искренняя печаль.

— Ишь что выдумал! — хором возражают солдаты. — По-хри-сти-ански. На войне душу беречь не велено...

Перед отходом из Тварди воздух наполняется звоном и треском: это наши солдаты добивают остатки посуды и уцелевшие зеркала.

— На ко-оней! — гремит команда.

И дюжие бородатые ездовые проносятся гарцующей рысью, кокетливо держа перед глазами зеркальные осколки и лихо, по-казачьи, выпятив грязные чубы.

— Первый взвод! Ездовые... и-нсь!.. Молодцы-артиллеристы, — доносится издали переливчатый голос адъютанта, и чувствуешь, что на душе у солдат и офицеров весело и безмятежно...

... Проходим без остановки через Синяву — небольшой городок с мощеными улицами и скелетами обгорелых домов.

Накануне здесь был отчаянный бой. Груды камней и почернелые пни еще дымятся. Весь город наполнен удушливой гарью. Среди пустынных улиц нелепо торчат длинные уцелевшие столбы электрических фонарей. Мы сворачиваем

в боковые кварталы, где под красными черепичными крышами приютились уютные одноэтажные домики с высокими крылечками, при виде которых мучительно хочется плюнуть на всю эту грязь и свинство и хоть на час забыть о парках, обозах, прапорщиках, проволочных заграждениях, блиндажах и окопах... Но, кажется, путь наш не окончится и через двести лет.

... Новое сегодня, такое же мокрое и тяжелое, как вчера. Время тянется медленно, а дни бегут быстро. Думается весь день, а мысли не вяжутся. Душа развинтилась на две посторонние половинки: телесная, «военная» жизнь протекает совсем отчужденно от умственной работы. Думаешь в старых интеллигентских тонах: о насилиях, о духовном общении, о Болконском из «Войны и Мира» и всякой яснополянской метафизике, а живешь походами, грязью, дождем и мечтой о хлебе и отдыхе. Да изредка ловишь на-ходу случайные реплики:

— Галиция есть страна, бедная и скучная, — иронически философствует Кузнецов.

— На́ що було воевать, — слышу я сзади голос моего Коновалова, — як у них ни земли ни хліба нема?..

— Эге! — подсмеивается Семеныч, — сменим соху на блоху... А для ча воюем, про то у начальства спроси...

«Воюем»-то мы, впрочем, только с насекомыми на ночлегах. Во все остальное время грузнем в грязи, ломаем оси, теряем замученных лошадей и виртуозно упражняемся в поминовении матери...

... Увы! Все то же. Длинно, голодно, грязно. Ни войны, ни людей, ни природы, — одна только хлюпающая грязь. Грязные дороги, грязная обувь, грязные разговоры. Голодаем, как собаки. Со всех сторон гремит и грохочет.

Ночлеги хуже застенков. Пахнет портянками и коровьим хвостом. Как о счастьи, мечтаешь о двух вещах: о возможности выспаться и о людях. Кругом все солдаты, поручики и прапорщики. Густая смесь матерщины, брюзжания и похабного анекдота. Все злы, угрюмы, и больше всех брюзжит командир. Со вчерашнего дня вся дивизия сблизилась, и командир бригады идет вместе с нами. Оттого на ночлегах стало еще теснее. С бою берется каждая халупа. Чердаки, сараи, стодолы — сплошь завалены пехотинцами. Говорят, в Лезахове, куда мы сейчас идем, вся наша армия получит трехдневный отдых. И все стремятся опередить других, чтобы отвоевать ночлег поудобнее. Наш командир бригады давно уже выслал квартирьеров вперед с определенным наказом:

— Прямо за шиворот хватай и вон выбрасывай всякого, а чтобы мне квартира была!.. Понимаешь?

Базунов, командир бригады, чрезвычайно яркая личность. При телосложеньи солидного полковника, с сильным, крутым характером и ловкой учтивостью он отличается злым и насмешливым умом. Чистоплотный, изящный и разговорчивый, он мастерски владеет фразой и одним словом умеет показать под тонким стеклом своей иронии самые запретные вещи. При этом он чудесный актер, никогда не теряющий выдержки. А быстрые, черные глаза и насмешливые движения придают его словам подвижной, неуловимый и чрезвычайно колкий характер. Базунов — большой любитель полемических поединков. Никогда он не выходит из себя и никогда не соглашается с противником. Его постоянным партнером в спорах является прапорщик Кузнецов.

— Для чего мы лезем в эту вонючую Галицию? — сквозь зубы роняет командир.

— Приказано! — бросает реплику Кузнецов.

— Все паны да паны, а на шестьдесят верст кругом ни одного клозета, — продолжает в своем обычном задорно-полемическом тоне полковник. — Конечно, долг перед обществом обязывает нас приносить себя в жертву. Но если вся их Галиция ломаного гроша не стоит и завоевывать ее имело бы смысл только в том случае, если бы она кончалась Великим океаном, в котором можно было б омыться от всех ее грязей . .

— Обиднее всего то, — иронизирует Кузнецов, — что люди, имевшие неосторожность родиться в этой гиблой стране, не отдают ее даром и дерутся за свою жалкую Галицию, как французы за свой Париж.

— В том-то и дело, — подхватывает Базунов, что в нашем походном вояже больше блох и поносов, чем сражений...

К вечеру 10 сентября мы, наконец, добрались до Лезахова. Версты за четыре от села нас встретили квартирьеры с печальной вестью:

— Ни одной халупы в селе. Бабы криком кричат, детишки плачут, для господ офицеров и то места не будет.

Грязная большая деревня оказалась сплошь забитой войсками. Парку пришлось остановиться далеко за селом. В сопровождении солдат мы двинулись на поиски ночлега. В деревне творится что-то страшное. По земле буквально шагу ступить нельзя: всюду следы войны, ужасные следы человеческой скученности и солдатской дизентерии. Ноги вязнут в вонючей гуще. По земле ползет тяжелый, смрадный туман, от которого во рту образуется гнилая, гадкая ржавчина, доводящая до рвоты. В хатах плач и скрежет зубовный. Солдаты забрали все снопы из амбаров и, накрыв ими грязно-испакощенную

землю, расположились тут же вповалку, так тесно, что и пешеходу негде пройти.

— Вот так отдых! — слышится с разных сторон. — По времени пришелся.

— А в окопах лучше? — ворчит недовольный голос.

— А ты в окопе сидел?—иронизирует другой.

— Ай нет? Расскажи другому-кому.

— Сам себе рассказывай, — гудит насмешливо иронист.

— В окоп залез — все забыл: душа в кулачок сжимается. А на отдых итти — в гною потеть — я на такое не согласен...

— Не согла-асен, — передразнивает сердитый голос, — не согласен... Война — не жена: со двора не прогонишь...

Обошли всю деревню из конца в конец. Добрались до лезаховского коменданта. Просим указать помещение... Нѐгде.

— Помилуйте, — разводит руками комендант, — здесь вся дивизия сгрудилась, с артиллерией, с парками, лазаретами. От пехоты дохнуть нельзя. Разве ж так можно?

— Ничего не понимаю! — фыркает командир Базунов.

— И понимать нѐчего: ка-бак! — выразительно отчеканивает комендант.

— Со мною штаб, канцелярия, денежный ящик, — недовольным тоном перечисляет Базу-

нов. — Разрешите, по крайней мере, в ваших сенях расположиться.

— Не могу, господин полковник, никак не могу: под канцелярию генерала Заслова отведено...

Мы снова плетемся по колено в навозе, вбираем в легкие тошнотворный, смрадный туман, впитываем в уши скверную, вязкую матерщину, заглядываем в каждую дверь, бранимся, ругаемся матерно, проклинаем войну, начальство, Россию и, наконец, узнаём от ординарцев, что где-то, в какой-то хатке приютился десяток пехотинцев.

— Гони их, прохвостов, в шею, — свирепо командует Базунов.

И вот мы блаженствуем... Шестнадцать русских интеллигентов лежат на грязном полу, довольные тем, что им удалось выгнать под осенний дождь в холодную ночь десятка два мужиков, почему-то обязанных по первому нашему слову итти вперед по непролазным галицийским полям, прорывать австрийские заграждения, гнать перед собой эскадроны венгерцев, колебать, опрокидывать и потом валяться в грязи и мерзнуть под открытым небом...

... От духоты, от храпа, от спертых пакостных испарений и низкого потолка не могу

уснуть. Выхожу на воздух. Темно. Моросит осенний дождик. Кругом на земле лежат солдаты вповалку, и в темноте раздается тяжелый храп. Брожу как в кошмаре, почти не сознавая, как очутился я здесь, полуодетый, задыхающийся в темную ночь, в вонючей австрийской деревушке, деревушке, где сотни русских людей для чего-то мерзнут и дрогнут под дождем. Где-то вдали солдаты жгут костер, и видно, как усатые лица озаряются вспышками горящей соломы. Подхожу к костру. В бурке, в исподнем белье и без фуражки. Солдаты прикидываются, что не узнают во мне офицера, и продолжают громко беседовать.

— Ну, мы народ простой, глупый да темный. Ужели ж у начальства часу нет подумать, как же так цельную дивизию в одну деревню согнать?.. Ну, как тут отлить, ребята?.. Пойти — спросить у начальства. Може, господа охвицеры знают; а я, брат, не выучен землякам в рожу гадить.

— Чего зря глотку дерешь? — раздается солидный окрик.

— Одни мы, что ли, такие? Весь свет война рушит...

— Рази ж он войну корит? На войну наплевать.

— Ты скажи, ребята, спокайся, от начальства польза какая — толком не доберу. От на-

чальства порядок нужен, аль нет? А где он порядок? Хуже зверья живем... Я не противу присяги — ни боже сохрани. На то и солдат в окопе, чтобы ружьем трещать... Сколько мне жизни всей осталось — не знаю, только дай ты мне в тепле обогреться хоть самую малость...

— Братцы мои кровные, — звенит из темноты молодой голосок, — и за что это мужику такое житье на свете? Живем — не жители, умрем — не родители. А всё мы, всё мы. И хлебушка — наш, и отечеству служим, и силу тратим; сколько одной этой чести за день отдашь... Ничего не понять кругом...

— Вишь, гусь какой!... Чем мозги утруждает! Погоди, пуля научит. Попадешь в окопы — спокаешься...

— А чего мне каяться? — звенит прежний голос. — Греха на мне нет. Душа у меня такая: чужое хоть серебром да золотом убери — не надобно. Разве ж я тут своей охотой сижу? Страх держит... Наше дело обозное...

— Пужливый, — презрительно произносит рослый солдат. — Смерть от страха ослобонит!.. Раз умирать; а что здесь, что в окопе — всё едино. Греха нет?.. За одним за богом греха нет. Нет, брат, один грех на всех. А ты думаешь — одному забава да песенки, а другому грех да запрет. Погоди — прийдет такой час — спросют! Почнёшь совестью мучиться!.. И не-

мец, и хранцуз, и мужичок обозный, и прапорщик с гусельками — всей ценой-то за грех платить будем... Ой-ой!.. Может, который в окопе как гад живет, который больше всех изобижен, тому Христос по милости и отпустит. Скажет: зачем на муку послали?.. Он муку принимал, душу умирил...

— Верно!—гудят сочувственно пехотинцы.— В окопе какой уж грех? И на грех не тянет...

— Живем как святые угодники, — весело откликается кто-то, — вшей давим да бога славим...

Трещали сучья в костре. Густо стелился дождик. Воздух был спертый и противный до того, что голова кружилась. Кругом виднелись кряхтящие, скорченные фигуры, на корточках, и слышались сердитые солдатские шутки:

— Но-но! Не чепай руками!..

В голове у меня вертелась, кажется, чеховская фраза:

Жизнь идет все вперед и вперед, культура делает громадные успехи на наших глазах, и скоро настанет время, когда Ротшильду покажутся абсурдом его подвалы с золотом...

Милая русская маниловщина, милые русские мечтатели! Обнесенные высокими стенами красивых фраз и рифмованных строчек, что знаете вы о жизни, о мужике, о бородатых солдатах и очаровательных бритых полковниках?..

... На войне, как и всюду, всю черную работу делает мужик. Мужик стреляет, мужик ковыряется в земле, прокладывает дороги, пилит, режет, копает, мосты наводит, в пекарне и на кухне работает, а начальству остается только во-время приказывать. Но и эту несложную обязанность оно несет весьма неисправно. В пяти местах мы пробовали переходить через Сан, и всякий раз выходила какая-то непонятная задержка. Наконец, мы в Воле Быховской. Это большая, чистая польская деревня, окруженная лесами и полем. Мы чувствуем себя здесь как на даче. Погода отличная. Солнце весело светит. Чистенькие домики, окруженные садочками и цветниками, дышат миром, спокойствием и достатком. Стодолы завалены душистыми стогами сена. Стадами гуляет скот. Птицы сколько угодно. Все мы полны здесь нежности, тишины и сытого довольства собою.

... Но скоро снова стало тесно и грязно. Ворота настежь, двор завален навозом, на заборах солдатские портянки: со всех сторон облепили нас пехотинцы с обозами. Но от хорошей погоды и от отдыха легко и празднично на душе. Ночуем в палатках.

— Она палатка, а всякой избы лучше, — говорит нравоучительно Лактионов, наш плотник.

И, действительно, есть в этих ночевках под

открытым небом своя дремучая прелесть. Забравшись с раннего вечера под палатку, я наблюдаю за людьми. Вокруг костров сидят бородатые дядьки и среди тишины, стоящей над сонными полями, ведут медленные беседы. Говорят о волшебниках, о предчувствиях, о кладах. Протяжно, спокойно и с твердой верой перебирают солдаты всякие небылицы, а другие с умилением слушают эти странные разговоры. Кажется, что Россия все такая же огромная и неведомая Скифия, какой была она пятнадцать веков назад, и живут в ней все такие же варвары, и не стали они ни на иоту умней, и в душе их все та же лютая темь и невежество и дремучая ненависть.

Орудий не слышно. Теплая, теплая погода. Пахнет сосной и сеном. Мягко потрескивают костры, и отчетливо слышатся спокойные голоса.

Почти каждый вечер фантастические беседы заканчиваются заунывным пением, в котором грустное украинское «гирко плаче» все время переплетается с ярославским «долю горькую проклинаючи». И еще долго сквозь сон мне слышатся меланхолические жалобы на «житье бесталанное», на «победную головушку» и на «смертный час во чужой стране»...

... Опять дорога, опять кусают блохи, опять обрастаем грязью и насыщаем воздух раскатистой

русской бранью. Долгие походы вперемежку с дневками, полными табачного дыма, бесконечной девятки, разговоров о женщинах, сквернословия и закусок. Мы уже привыкли к этим внезапным бытовым переменам. Сегодня русинская деревушка, грязная, бедная, хлебосольная, без скатертей, без полов, без отхожего места. Завтра — опрятность, возведенная в культ, польская сдержанность и неизбежные, кружевные бумажки с разрисованной надписью над входом: Czystosc jest ozdoba domu. [1] Миновали грязный пустынный городишко с мудреным названием: Медынья Ланцуцка; прошли через большое фабричное местечко Жолынья, наполненное казаками, испуганными узкогрудыми евреями и сожженными домами; переночевали в крохотной, жалкой деревушке, битком набитой детьми, стариками и калеками, где нет ни соли, ни дров, ни спичек, где люди не знают, куда бежать, и только с ужасом повторяют, что кто-то палит кругом местечки и села, а кто — «не вемы». К вечеру следующего дня мы, злые, усталые и голодные, очутились в Гродиско и расположились в баронском замке. На всю бригаду имелся всего один огрызок свечи, и в огромных пустынных комнатах, холодных, разграбленных и мрачных, сердце щемило от тоски. Среди

[1] Чистота — украшение дома.

сора и грязи мы раскинули наши койки и почти сейчас же уснули. Кажется, я давно уже смотрю на вещи суровыми, трезвыми глазами. Но когда я проснулся рано утром, мне все же сделалось больно за нашу дикость и темноту, за тупое, бесцельное и оскорбительное бессердечие наше. Мы ночевали в будуаре. На полу валялись сотни записочек и писем, написанных по-французски и по-польски, листы из альбомов, груды фотографических карточек, измятых, надломленных, — вещественные доказательства нашего вандализма. Дорогие обои испещрены были похабными надписями. Пустые шкафы были загажены. Две задние комнаты вместе с ванной превращены были в сплошную зловонную клоаку, а тут же валявшиеся клочки солдатских писем пластично рассказывали всю многоликую природу нашей армии: были письма на русском, татарском, грузинском, еврейском и польском языках... Остатки старинной мебели, роскошные цветы и множество иностранных книг были свалены в кучу, и в ту минуту, когда я смотрел на них, они представлялись мне еще более покинутыми, чем их хозяева, рассеявшиеся по ветру.

Куда деваться от плачущих баб? Идешь полем — бабы с воплями обступают: ваши жолнеры (солдаты) последнюю картошку выкопали, и теперь хоть ложись да помирай со всеми детьми. Сидишь дома — прибегают с жалобой бабы,

кричат, рыдают: ваши солдаты сорвали замки, вытащили последний сноп из стодолки; чем жить, что сеять весною будем?.. Раздаешь рубли и полтинники; но ведь это только увертки, желание купить себе дешевое право быть безучастным к бабьим слезам. Одна баба решительно заявила фуражирам: хоть 50 руб. платите за сноп — не продам, а силой возьмете — себя и вас спалю!..

И вот мы гамлетизируем с утра до ночи. Быть или не быть? Брать или не брать? Снилось ли нашим баталионным командирам, что они превратятся в Гамлетов и что им придется беседовать с галицийскими Офелиями на военно-лирические темы? Но, говоря по совести, к датскому Гамлету судьба была более снисходительна. Гамлет хнычет и двоится, но ему совершенно не приходится иметь дело с фактами. Вместо фактов перед ним бледный свет луны, и витает он все время в парах теософии. Тень безмолвного короля наводит здесь самый большой ужас. А перед нашими полковыми и баталионными Гамлетами и днем и ночью звучат неотступно голодные и холодные голоса, которые тут же на месте превращаются в визгливые факты. Визжат и бранятся бабы, ревут детишки, ревут кабаны, которых режут голодные солдаты, ревут и бьются в предсмертных корчах зарезанные коровы—эта фатальная «остатня крова», из-за которой пролито

столько крови и слез по всей несчастной Галиции.

— Бросим сначала взгляд на обстановку наших героев, — иронизирует по обыкновению Базунов. — В голодное село приходят голодные резервы. Через четыре часа они будут брошены в наступление. Должны ли мы их накормить? Разумеется, так. Ибо раз мы воюем, то мы хотим победить, а раз мы хотим победить, то солдаты должны быть сыты. Но этому противятся строптивые галицийские бабы. Правда, у них есть свои бабьи резоны. Если мы заберем у бабы последнюю корову, то ее детишки останутся без молока и помрут, быть может, голодной смертью. Но ведь одной коровой я могу накормить целую роту солдат, из которых двадцать процентов будут через четыре часа убиты и ранены. Имею ли я право лишить солдата последнего утешения на земле — умереть по крайней мере сытым? И как я должен, по-вашему, поступить, когда стоит передо мной голый вопрос: рота солдат или одна галицийская семья?.. А строптивые галицийские бабы, которые понятия не имеют ни о статистике ни о стратегии, орут благим матом: «остатня крова»... Или вот вам еще одна картинка. Армию бросают на Краков. Чем раньше она придет, тем скорее Европа осуществит свои политические планы. Конечно, армия валит напрямик через поля и панские огороды.

При этом не только топчет и уничтожает все колесами обозов и пушек, но и пользуется всем, что попадается на пути для собственного прокормления. Допустим, что каждый из нас возьмет только ежедневно по одной репке и по одному судочку картофеля. Не больше, не меньше. А ведь в нашей армии 300 000 солдат. Вникните в дело, и вы увидите, что мы совсем уж не такие низкие изверги, как внушают о нас господу-богу галицийские бабы. Чем мы, скажите, виноваты, что европейская политика сделала именно эту вонючую Галицию средоточием войны, что именно нашу армию поставила она в центре событий и что русский солдат съедает разом по четыре фунта картофеля? В том-то и дело: правда и кривда только в книжках живут врозь, а на войне они шагают нога в ногу, и только строптивые бабы этого никак не поймут...

Пробовал я с солдатами заговаривать на те же темы, но они как-то неохотно отделывались полузагадочными афоризмами:

— Голод выучит!

— Ограбили нашу жизнь — и нам не жалко.

— Так зря-то зачем уничтожать? Зачем картины дорогие испортили? — пристаю я к солдатам.

— Ты от нашего брата ума не требуй, мы не ученые, — сухо отвечает солдат Родионов.

А другой, рядом с ним, высокий, худой и крючковатый, поблескивая хитрыми глазами, насмешливо бросает в толпу солдат:

— На картинах-то все больше женский пол...

И все солдаты разражаются хохотом:

— Пуска-ай! Чего там! И без картин проживут!

— Ну, без картин, по-вашему, проживут, а ведь без последней коровы прожить никак невозможно; помрут детишки, голодной смертью помрут.

— Смерть не наследство, от нее не откажешься, — спокойно возражает тот же Родионов.

И только Семеныч говорит мне с добродушным сожалением:

— Война добру не научит... Все, ваше благородие, наново переучивай...

И почему-то добавляет с глубоким вздохом:

— Присяга — она человека за душу держит!..

... Третьи сутки гнилые ветры и ливни. Холодно. Палим заборы, крыши и снопы. Приходят бабы, ревут, припадают к ногам, целуют руки, жалуются: забрали овес, пшено, сало... Что делать? Либо гнить солдатам в грязи и околевать от голода, либо... Другого исхода нет. Двигаемся на Глогов. Пронзительный ветер воет на все голоса. Земля наполнена

грязью, тоской, унынием и сотнями испуганных жителей, которые бессмысленно мечутся из Виделки в Стоберну, из Стоберны в Бабицы и т. д., и т. д. по лесам, по грязному бездорожью. Третьи сутки мы странствуем по разоренным местам, ругаемся, злобствуем, сталкиваемся с безобразными фактами, и на все наши вопросы: «еще далеко до Глогова?» — слышим один угрюмый ответ: «не знаем, мы там не бываем».

Льет, не переставая, дождь, и мрачный Ханов скрипит пророческим тоном:

— Ноне дожди — так до самых морозов лить будут.

К вечеру добрались до одной из многочисленных крохотных Вулек и, после долгих тщетных стараний разместиться в шести халупах, решили двигаться дальше. Фельдфебель упрямо урезонивал Кузнецова, доказывая, что лучшего ночлега все равно не найдешь, что солдаты устали, что лошади не кормлены и надо подождать до рассвета.

— Да ты что, покойников боишься? — сердился Кузнецов, — как бы в потемках не примерещилось, что ли?

— Впотьмах — и блоха страх, — сдержанно огрызался фельдфебель.

— От блохи-то мы и спасаемся. Понимаешь?

Выступили в восьмом часу. Дорога шла вниз по трясине. По бокам тянулись леса. Не было

видно ни зги, и казалось, что все мы, с лошадьми и зарядными ящиками, гремя и ругаясь, ползем в какую-то бездонную пропасть. Темнота развязала языки, и в воздухе вместе с едкой матерщиной плясали злобные, свирепые крики:

— Эй ты, в рот тебе чесотка, чего стал?

— Начальство дорожку выравнивает...

— А!.. Жрет — жрет, а везти не везет...

— У-у! Задави тебя смерть! Ползешь, как мокрая вошь...

Свистят кнуты и нагайки, слышно, как тяжелые кнутовища лупят обессиленных лошадей. Часа два длится истязание, а мы все как будто на том же месте.

— Стой! Стой! — доносится из передних рядов, — канава!

Отряжают две сотни артиллеристов с топорами и пилами, и те начинают прокладывать новую дорогу в лесу. Передние повозки продвигаются на несколько шагов и застревают между деревьев.

— Это они нарочно, прохвосты! — кричит Кузнецов.

— Ничего, и тут не подохнете, жирнотелы поганые, — раздается близко возле меня.

И, уже никого не слушая, солдаты сурово и твердо вдруг решают:

— Ребята, выпрягай!..

— Выпрягай! Здеся и заночуем! — начальственным окриком несется голос фельдфебеля, и в пять минут разамуничены лошади, и мы, оставив у парка караульных, забираемся в лес поглубже, чтобы укрыться от дождя. Но и тут мокро и холодно. Лошади сбились в кучу. Солдаты дремлют, прижавшись спиной друг к другу. Иные, наломав еловых ветвей, храпят на колючих иглах, как на перинах. Из кучек, где солдатам не спится, несутся недовольные вздохи:

— И для ча только по болоту ныряем?

— По безрассудству! — слышится сумрачная реплика.

И только неугомонный Шкира преувеличенно громким голосом, явно рассчитанным на внимание начальства, рассказывает свои бесконечные сказки:

— ... Подошел этта парень к дуплу и спрашивает, какая меня судьба ждет-стережет? А внутри ти-ихо, никто голоса не подает...

К рассвету все на ногах. Дождить перестало. В тишине и спокойствии седого утра зыбко сереют из тумана солдатские фигуры; подрагивают бокастые лошади; тарахтят, гремя цепями, зарядные ящики, с напряжением вытаскиваемые обессиленными лошадьми, по брюхо загрузшими в болоте. Свирепо работают кнуты; звенит солдатская ругань. Но часто, спрыгнув с передков,

солдаты впрягаются заодно с лошадьми и, налегая на грязные колеса, сочувственно кряхтят:

— Замучилась скотина, до самого краю подошло, один зол-конец всем будет...

— Треплется, бедная, как рыбка на крючке...

И вдруг, как по волшебству, исчезли печальные, бурые цвета, расплылся водяночный туман, и далеко кругом стало видно и радостно.

— Глогов! — крикнули ездовые, указывая кнутами куда-то вдаль.

«Мой друг, мой нежный друг...» — запел Кузнецов и пустил свою лошадь вскачь.

Вся колонна как-то разом вытянулась, приободрилась, и спустя двадцать минут мы въезжали в чистенький европейский городок, с каменными особнячками, палисадничками и торцовой мостовой. После ночевки в лесу, после нищенских, грязных Вулек, после тараканов и блох странным и сказочным казалось это волшебное превращение, эта великолепная мощеная улица, уютные домики, как на курорте, в которых, чувствовалось, должны быть веселые дети, красивые девушки, добродушные люди, и всем им, казалось, живется покойно, тепло, удобно...

Но в городе было пусто. Не видно было кудрявых детей, не слышно было смеха, зияли пустые рамы без стекол. На все обращения и расспросы

редкие жители-поляки сумрачно и нехотя отвечали:

— Жиды в синагоге — ничего нет...

— Чорт их бери, тащи их из синагоги, — сердились офицеры. И кто-то из солдат, злобно блестя глазами, охотно отозвался:

— Со всёй удовольствией!

Плохо спалось мне этой ночью. Мешали все мысли скучные.

Рано утром я вышел на заднее крылечко, заросшее плющом, и увидал, как из соседнего домика, который мы считали необитаемым, выглянула старушка в одних чулках и, озираясь, спустилась в сад. Крадучись и волнуясь, она шла по ржавой, осенней дорожке, и остановилась совсем близко возле меня у большого бугра коричневых и золотисто-рыжих листьев. Старая-престарая еврейка, пугливая и обмызганная, похожая на облезлую крысу. Она раза два испуганно осмотрелась по сторонам, пошарила рукой и, мне показалось, что-то спрятала в листьях.

— Что вы делаете? — вырвалось у меня по-польски. И я мгновенно почувствовал, как резко и некстати прозвучал мой вопрос.

— Ой, пане! — страстно и кратко вскрикнула еврейка и, глядя в глаза мне с безумным страхом и болью, прошептала умоляющим голосом:

— Мòя цурка, там мòя цурка...

И я все понял.

А в полдень, когда мы уходили из Глогова и солдаты грузили на артиллерийские возы зеркала, подушки, стулья, ковры и всякую кухонную утварь, та же старушка металась от воза к возу, и рыдая, простирая к солдатам руки, захлебываясь слезами, о чем-то громко молила их.

— Пшла! — тупо и кратко отмахивался крупный и сумрачный Савельев.

Но старушка, заметив офицеров, взревела еще несдержанней.

— Ну ты, жидовская морда, поговори у меня, чортова кукла! — зарычал Савельев и пнул ее сапогом. Старушка грохнулась об земь.

Офицерам стало не по себе.

— Верните ей, что вы там забрали, — крикнул повелительно адъютант Медлявский.

— Мы и сами не знаем, чего ей надо, — засуетился Юрецкий. — Зря привязалась, лопочет, ругается, за грудь хватает...

Медлявский, прапорщик из адвокатов, добродушный, с наивными глазами и немного высокопарной речью, сердито сдвинул брови и резко отчеканил:

— Прошу не прикидываться дурачками! Картина для меня ясна.

— Никак нет, — сладеньким тенорком запел Гридин, унтер-офицер из жандармов, — никакой

картины не было... Зря пристает жидовка, чтобы только начальство осерчать изволило. Истинным богом говорю: никакой картины не было.

— Чего там, — загудели и другие солдаты, — на то и война. Что со стола, то под себя.

— И до чего это жиды на крещеную душу злобиться рады, — попрежнему сладостно тянул Гридин. — Кричит криком старуха, а спроси ты, чего?.. Смерть за спиной стоит, а ей сундучишка жалко... Такой штыка в брюхо всадить — и то грех не велик... Кто тебя, старая, ограбить может, ежели всюду патрули ходят?..

Еще минута — и парк вытянулся, загрохотал, загремел по камням, оставляя позади опрятные домики, теперь нищие и опозоренные. Из дверей и окон выглядывали евреи с виноватыми лицами, и солдаты, проезжая мимо них, широко размахивали кнутом, стараясь хлестнуть их по лицу. Офицеры, посмеиваясь, смотрели на эти сцены.

— Неприкосновенность личности и неприкосновенность жилища, — беспечно иронизировал Кузнецов. И, раскрывая тайный ход своих мыслей, мечтательно и громко добавил:

— Куда это они Хаичек всех попрятали? Я все дома обошел...

... Грязно, скользко и холодно. Вторые сутки идет беспрерывная пальба и упорно дер-

жится слух, будто неприятель усиленно наседает и уже находится где-то в восьми верстах от нас. Переяславский полк окапывается. Дивизиону нашей бригады приказано стать на позицию. Сегодня в девятом часу вечера получен спешный приказ из штаба: завтра к шести утра хвостом колонны перейти через брод у деревни Лапувки и, не задерживаясь, двигаться на Ниско-Заречье-Вулька Тапевска. Дорога инквизиторская. Задние взводы отстали на много верст. Поминутно теряем лошадей. В Лапувку добрались на рассвете, постучались в окошко у первой же избы и потребовали хозяина:

— Веди к броду.

Крестьянин, босой и заспанный, долго почесывался, отнекивался и, наконец, повел нас по пескам и косогорам, и через час подошли к реке. Сунулись в воду — аршина два глубины. Разбудили другого жителя — тот заявил, что здесь и пехоте не пройти, не то, что с зарядными ящиками. А перейдем — на том берегу все равно загрузнем, не выберемся из топи.

— Ишь ты, Сусанин какой, — рассвирепел Базунов. — Расстрелять его надо, подлеца!

Но Сусанина уже след простыл. Опять поплелись по пескам да по болотам и к полудню койкак перебрались через реку, оставив на переправе один зарядный ящик. Лошади еле передвигались. От усталости люди совершенно лиши-

лись языка и только мычали. С обеих сторон, на много верст стеной тянулся непроходимый сосновый бор; подозрительно вспыхивали какие-то зеленые огоньки. Но нам было все равно. Хотелось лишь одного: присесть, уснуть... И вдруг солдаты один за другим стали спотыкаться и падать в грязную, вонючую гущу, в которой валялись десятки подыхающих и уже давно разложившихся лошадей.

— Но, но! Подтянись, ребята! — раздается зычная команда Кузнецова, и солдаты стряхивают с себя сонную одурь и плетутся дальше.

Опять густая, глубокая, вонючая гуща, вся замешанная на конском помете. По бокам леса, леса и леса. Дух захватывает от истерзанной и размочаленной колесами падали. Дождь сечет, как кнутами.

Облепленная грязью одежда задубела и покоробилась и трещит, как хомут. Каждый шаг это какое-то крестное шествие. С высокого пригорка я смотрю на узкую, черную дорогу, всю в глубоких провалах и впадинах, наполненных жидким, зловонным киселем, сверкающим и кипящим как смола; вижу далеко впереди и позади себя опрокинутые зарядные ящики, двуколки, фурманки, артиллерийские повозки, какие-то бревна и шпалы, рельсы подвижного состава, колеса, шинели и валяющихся по обочинам, на пнях, на шинелях и в грязи выбившихся из сил солдат.

Они лежат неподвижные и замученные, рядом с сидящими по брюхо в грязи полуживыми, еще барахтающимися и судорожно дергающимися лошадьми... Из этой липкой, вонючей и сверкающей гущи несутся тяжелые крики, сопение, хлопанье кнутов, едкая матерщина и отчаянные вопли:

— Погибать, ребята! Окормили австрияцкую землю до полна...

А дорога все страшней и ужасней, и грохот орудий надвигается все ближе и ближе.

— Пропадем, не выберемся, — бормочут сквозь зубы офицеры.

Близится вечер. Лошади, давно не получавшие корму, отказываются дальше везти. Происходит какое-то таинственное совещание между солдатами, и я вижу, как из зарядных ящиков вынимаются гранаты и шрапнели, и их уносят куда-то в лес. Проходит не больше получаса, парк двигается дальше. Двигается легче, свободнее; лошади крепче перебирают ногами. Еще минут двадцать, и мы на вершине огромного холма. Как по волшебству, исчезли леса и топи и перед нами вдали зажигается вечерними огнями город Ниско.

— Ишь ты чутье какое, — посмеивается Базунов.

— Вот откуда у них вдруг сила появилась; жилье почуяли.

— Да нет же, секрет не в этом, — говорит наивно Костров. — Разве вы не знаете, что солдаты опорожнили ящики и половину снарядов закопали в лесу?

— Официально мне ничего неизвестно, — строго, сквозь зубы произносит Базунов, — а холодно и здраво рассуждая, если уж верить в солдатское чутье на войне, отчего бы нам не поверить и в конское чутье?..

... Мы в деревне Шиперки, в низенькой и жалкой хатенке, среди солдат и детишек. Лежим на койках, вплотную приставленных одна к другой. Солдаты заглядывают в окошко и громко делятся впечатлениями:

— Должно быть, околодок: все койки под ряд стоят.

Более настойчивые врываются в сени, чиркают спички и кричат сердитыми голосами:

— Да что же нам пропадать, что ли? Отворяй, ребята!..

Потом робко просовывается намокшая солдатская голова и спрашивает неуверенным голосом:

— Здесь кто? Солдаты?

— Уходи, уходи! — повелительно кричат денщики, — здесь господа офицеры.

Солдаты уходят, лезут на чердак, где их набилось уже великое множество, и слышно,

как трещит потолок, как они тяжело кряхтят и ворочаются. И им, как и мне, не спится. В комнате одуряющая вонь. В зыбке стонут и мечутся три девочки, больны корью.

Просыпаюсь от душу раздирающих криков: воплем воют растрепанные бабы, у которых отбирают картошку, масло, коров. В ушах назойливо ноют их всхлипывающие причитания: «дрібны дітки, маты старуха, овес забрали...» В хате дымно и грязно. Визжат больные детишки. Неистово кусают блохи, которые ползут и скачут по лицу, по платью, по стенам, столам и скамьям. Вонь, духота, загаженные окна. С отвращением проглатываю чай и апатично прислушиваюсь к тому, что происходит кругом. В сенях столпились все наши денщики, и оттуда доносится хриплый и медленный голос Ханова.

— Это еще не холодно. Теперь как раз рыбу ловить: мы все, льговские, коло саду обучены, а к зиме рыбой занимаемся. Дома я четыре сети оставил, по 12 руб. сеть. Река у нас Сейм, в Десну впадает. По нашей реке всякая рыба ходит: ясь, окунь, карась, щука. Один граф 70 000 руб. штрафу отдал за то, что из своего сахарного завода отраву в реку напустил: вся рыба подохла. Кабы еще в текучую воду, тогда ничего: а то он в полую воду, по весне, когда река во льду еще стояла...

Доктор Костров, лежа под одеялом, читает вслух отрывки из «Войны и Мира», а Евгений Николаевич (Базунов) сопровождает это чтение своими ядовитыми репликами:

— Война, — говорит он своим насмешливым голосом, — развивает вкус к героизму и благородству, поддерживает в людях любовь к чистоте и опрятности. Вот послушайте, например, предписание из штаба дивизии: «Замечено, что в некоторых частях уход за лошадьми поставлен не достаточно опрятно . . . Инспектор артиллерии собирается сделать смотр паркам. Посему обратить самое серьезное внимание на чистку и содержание конского состава . . .».

— Вот почему об этом ничего не написано у вашего Толстого? У него там все поэзия, психология, характер русского человека . . . А скажите мне, что он написал о клопах, о блохах, о вони, о клейких скамьях и прокисших полах, о плачущихся бабах, о детях, у которых приходится вырывать изо рта последний кусок хлеба, о мародерах, о конокрадах, грабителях? . . Послушать вашего Толстого, так что ни солдат, то Каратаев, который только о божественном помышляет. А кто из церкви иконы на щепки выбирает? Кто превращает храмы в конюшни и сортиры? Кто обирает трупы до нитки? Кто казенный овес ворует? . . Об этом у Толстого не сказано? А по-моему Каратаев ваш — плут, и вся

эта толстовская психология гроша медного не стоит. Книжное баловство — и только. Потому что — сидел ваш Толстой в штабах и занимался смотрами да парадами. А попробуй его приставить к настоящей войне — на полчаса терпения не хватит. Нашел чему умиляться: простоте каратаевской. Да таких Каратаевых у нас по триста душ в каждом парке. Ничего им не надо, всегда они покойны и беззаботны, а им подавай готовое. Были бы только хлеб, да сухари, да обед во время, да как бы порция не пропала... Вчера, например, им приказано спешно уходить, в восьми верстах неприятель, а они...

— Ребята! Ужин поспел, разбирайте наскоро порции, а то пропадут...

— Что ж, и это, по-вашему, на умственность и христолюбие русского солдата показывает?

Крохотные окна нашей хатенки вздрагивают от пушечных выстрелов, и звенит на столе посуда. Нудные разговоры сливаются у меня в голове с отдаленным грохотом пушек, пушечная пальба — с описаниями Толстого, Толстой — с ироническим раздражением командира и с собственными мыслями о войне, о передвижениях, о мучительной усталости, которая снова ждет меня впереди, но которой сейчас нет... И я сладко потягиваюсь на койке от радостного ощущения неподвижности и покоя. Пусть грохочут выстрелы, пусть рвутся близко снаряды,

пусть летят во все концы ординарцы, пусть плачут дети и бабы — раньше чем через три часа мы не двинемся с места. Этим сознанием, повидимому, охвачены и другие офицеры. Чувство необычайно молодой и беззаботной радости слышится в голосе Кузнецова, когда он, вдруг рванувшись с койки, кричит по направлению к сеням:

— Шкира! давай песни петь!

— Рад стараться! — весело откликается Шкира, и через минуту под аккомпанемент двух балалаек звенит многоголосная песня:

Ехал казак на чужбину далё-ёкую
На своем добром коне боевом...

... Сутки мы провозились у границы, заблудившись в огромном лесу. О, какие тяжкие, какие долгие сутки! Ветер, серые сумерки и ропот сосен. И везде болота и топи, покрытые узорчатой плесенью. Они засасывают людей, лошадей, проглатывают целые зарядные ящики. Конский состав все тает и тает. Давно уже опорожнены все двуколки и ящики и идут под одной запряжкой. Ссадили всех верховых и ординарцев, а лошадей пустили в обоз. Поминутно делались перепряжки, и в каждый ящик впрягалось по 10 — 12 лошадей, чтобы извлечь его из трясины. Лошади хрипели, падали и делали по полверсты в час и гибли в невероятных стра-

даниях. Потом долго пламенела вечерняя заря и перешла в длинную, темную, холодную ночь. Кругом большой дикий лес и скверный, осенний, тоскливо воющий ветер. Местами, среди высочайших деревьев, приветливо выступали светлые пространства трясины, наполненные белым качающимся туманом, грозившие неминуемой смертью.

Люди измучились и уже не скрывают от себя и других своего страдания. Лица серые, бескровные, сморщенные. Фигуры понурые, усталые, неподвижные. Многие дремлют на-ходу. Адъютант прильнул к шее своей лошади и сладко храпит на весь лес. Многие распластались на двуколках, свесив голову на-бок и рискуя разбиться о деревья. Идем, идем, идем. Часы превращаются в долгие дни. Болит иззябшее тело. Машинально переставляешь ноги, и кажется, что все это снится: и люди, и лошади, и большой дикий лес, и скверная осенняя ночь, и насмешливый голос Кузнецова:

— Ах, хорошо бы теперь печку с тараканами, маленькую подушечку и тепленькую девчоночку.

— Стой! стой! — раздается внезапным воплем в темноте. Слышится треск и грохот, суетятся темные тени, чиркают спички, мелькают меж деревьями огоньки... Это опрокинулся ящик или свалилась от усталости лошадь. И опять идем, идем, идем.

— Хоть бы скорее всем сдохнуть!

— Такой жизни и беречь не для ча. Живем, как в зверином образе...

Командир ядовито подтрунивал над собой:

— Д-дас! У Маколея было четыре лакея, а теперь Маколей сам дуралей... Понесло меня в эту дурацкую историю. Подвигов захотелось... Только бы вырваться отсюда... Сейчас рапорт по начальству: довольно колбасы! Пожалуйте отставку!..

От холода и усталости, от мутного пара, гнилой осенней ночи, люди действительно дичают, как звери, и с диким криком: вьё, вьё! — полосуют спины измученных лошадей.

— Что делать? — совещаются офицеры. И решают отправить в разные стороны разведчиков. Я отправляюсь с группой солдат, и вскоре мы выбираемся на опушку леса, где около десятка казаков разложили большой костер и варят кашу.

Подходим. Казаки флегматично осмотрели нас с ног до головы и, не обращая больше внимания, продолжают свою беседу. Спрашиваю, как выбраться на дорогу; все равнодушно отвечают:

— Не могим знать.

Молодой, красивый казак выдернул из костра горящую головню, взмахнул ею в воздухе, прикурил и снова бросил в огонь. Потом протянул тягучим голосом:

— Война войной, а на бабу охота пуще, чем дома. Потому главное — все твое, может душа

натешиться, только поворачивайся... Вошел я это в халупу, гляжу: баба, здоровая австриячка, а подле младенчик, с виду быдто жиденок. Глянула стерва — так огнем по всей крови и прошло. Стал ее улещивать, тискать да мять — не дается баба, стыда не забывает. Лицо платком черным прикрыла, плачет... Скучно мне стало, и досада берет... Али товарища позвать? — не хочу я на люди грех нести, да и бабой делиться не согласен...

— Какие же вы разведчики, — сердито прерывает рассказчика наш солдат, — ежели вы на самой границе не можете на дорогу вывести?

— Я не сова в темную ночь по лесам летать,— усмехнулся старший из казаков; и все другие расхохотались.

— А мы что же, совы, по-твоему? Вас для пользы службы стараться поставили, а вы байками занимаетесь, да кашу в полночь варите...

— Ничего, земляк, и мы не балуемся, и нам свово горя полна мера отпущена: война всем не мать...

— Ты нам про долю сиротскую не рассказывай, — уже со злобой крикнул артиллерист, ты мне дорогу кажи, а войну воевать я без тебя сумею...

Казак встал, подбоченился и сурово отчеканил:

— Я приказание исполняю по долгу службы, всю тяготу несу, а про дорогу вон в деревне попытай... Там вон, деревня есть, по за лесом.

— Чего зря время тратить, — сказал сердито артиллерист, и, уже уходя, выразительно добавил:

— Ни до чего не годный, не стоящий народ — казаки, только у них и войны, что девок портить.

Кто-то из казаков насмешливо гикнул и запел томным голосом нам вслед:

На войне солдаты модны,
По три дня сидят голодны,
Не п..дят, не баламутят,
А от пищи носом крутят,
Любят девушку-красотку, —
Под рубашкою чесотка...
Ах, Матрешка, хороша,
Уж тебя ль не любит вша.

Мы опять вошли в лес в темноту и гудение. Солдаты изредка роняли отдельные фразы.

— Вишь гудит как, сколько тут душ загублено...

— Где бы уж бесу быть, как не тут?

— А и не веришь, братцы, что есть еще она, жизнь светлая... Куда ни глянешь — плывет за нами трясина... Один страх держит, а то так бы...

— А немцу, думаешь, мед?..

— Немец — он силу свою чует, в ем страху мало...

Кое-как доплелись до «деревни» — из десятка темных, развалившихся шалашей.

— Хорошо живут враги!.. Есть из-за чего войну воевать, — потешались солдаты.

Раздобыли крестьянина, не то лесника, не то явного контрабандиста:

— Веди!

Тот нехотя согласился. Пошли разными тропинками и повертками, добрались до парка. Часам к шести утра очутились на краю леса. Двинулись дальше — топь. Кликнули проводника, а его и след простыл. Делать нечего — полезли в болото. Бились-бились — и кой-как выбрались на дорогу.

Осень. Поблекли, поникли травы, скрипят ощипанные деревья. Так хочется убежища и тепла. И солдат и офицеров мучает осенняя тоска, и они ворчливо, придирчиво брюзжат.

— Говорят: душа вольная, свет широкий, — несется из солдатских рядов суровый голос. — А где она ширь да гладь? Вот на этом болоте вся земля в кулачок съежилась. Птицу и ту разогнали выстрелами. Душу всю выкорчевали. Вот и живи по заповеди христовой.

— Какие тебе заповеди на войне! — подхватывают солдаты хором. — Затрещал пулемет — слова евангельские, загремели пушки — трубы архангельские.

— Известное дело: пуля добру научит.

— Христовое воинство... Солдата все любят: солдат царю славу добывает.

— Солдату помочь — всяк не прочь.

— А не дают добром — вгрызайся штыком!

— Пса кромешного — и то пожалеют, а солдатское горе дешево.

— Ходя наешься, стоя выспишься. Эх, ты доля сиротская!

— Будя вам ёрничать да грехов набираться,— вмешивается Семеныч. — Мужик на войне, что медведь на бревне: как по башке грянет — так умом ворочать станет...

Офицерское недовольство сдержаннее и тише.

— Загромоздили штабами Ниско: придется нашему брату в вонючей халупе ночевать, — сквозь зубы роняет Кузнецов. И все вдруг чувствуют себя точно обескровленными. Ниско неведомый городок, приветливо мелькнувший как-то своими вечерними огнями. Одни мечтают о теплой постели, другие о походном романе, о мимолетном флирте под кровом гостеприимной пани, огромное большинство о легкой наживе: попасть на ночевку в город это значит рыться в обывательских сундуках и перинах, шарить по чердакам, погребам и сараям.

Вечерело, когда мы, сбившись в тесной хатенке, сидели понурые и голодные, но с радост-

ным ощущением покоя. Сколько их впереди — кто знает? Но каждая минута этого покоя — счастливая, долгая нирвана.

За стеной возились солдаты. Слышно было, как трещали кусты и гремело железо зарядных ящиков: это парк становился на ночевку.

— Кашевары! Порцию давай! — поминутно слышались крепкие голоса.

В сумерках низкая грязная халупа с окошком, похожим на глазок тюремной камеры, напоминала собою склеп. Базунов, взгромоздившись на кучу офицерских вещей и пощипывая балалайку, затянул жалобным фальцетом:

Куда ж тебя черти носили?

Потом, обращаясь в мою сторону, он заговорил в своем обычном шутливом тоне:

— Запишите на сегодня в ваши мемориалы (официально я вел «Дневник военных действий» нашей бригады; но в этом лукавом обращении заключался намек на мои собственные записки), запишите в мемориалах так:

«Это была одна из самых игривых ночей в нашей жизни. Петухи еще сонно потягивались, когда мы со всеми снарядами и, утопая по горло в грязи, выступили в поход, передвигаясь со скоростью двух черепашьих шагов в час. Зато фантазия христолюбивого воинства достигла наивысшего полета, осыпая презирае-

мого противника градом крылатых словечек, от которых лошади падали замертво».

— Недурственно, — хохочет Костров и, высказывая всеобщее желание, произносит разнеженным голосом:

— А хорошо бы сейчас по единой уконтропить!..

— Юрецкий! — командует Базунов, и денщиков охватывает суетливое возбуждение.

— Ужинать! Ужинать собирайте!

От спертого воздуха и вони я едва держусь на ногах. Выхожу из халупы на вольный воздух. В небольшом садике группа солдат сбилась вокруг костра, между патронных двуколок. Здесь Микешин, Вырубов, Вагнерубов, Косиненко, Блинов, Шатулин — все славные ребята, балагуры и остряки. Мое появление встречается дружелюбно.

— Холодно? — спрашиваю я. И мне отвечают залпом острот и поговорок.

— Мороз не велик, да стоять не велит.

— Едет генерал Дрожжаков на проверку пиджаков.

— Зима — лихая кума.

— Раз в году лето бывает.

— Зимой солнце, как мачеха: светит, да не греет.

— Летом и качка прачка, летом и старец молодец.

— Пришла зима — седьмая кума; пришел пост — поджала собака хвост.

Время от времени в толщу великорусского говора врываются бойкие украинские прибаутки:

— Иде лютый, пытае, чи обутый.

— Лыхо тому зима, в кого кожуха нема, чоботы ледащи и исты нема що.

Все стараются козырнуть словцом позадорнее, похлестче, и это состязание по обыкновению переходит в словесный турнир между Шатулиным и Блиновым.

Шатулин — рязанец, Блинов — москвич. Попали они к нам в бригаду случайно: их захватила мобилизация в Киеве, где один занимался извозом, а другой служил печником. Оба они страстные картежники, готовые в любую минуту сразиться в двадцать одно или в девятку. Картежное состязание они всегда еще превращают в турнир на поговорках. Шатулин кряжистый и солидный, слова роняет веско и сдержанно. Блинов — речистый, нахрапистый и веселый, говорит высоким тенорком. Состязание это всегда собирает много любопытных.

— Слушай дубрава, что лес говорит, — солидно объявляет Шатулин, начиная игру.

— Москва бьет с носка, — живо откликается Блинов, хлопая картой по столу.

Блинову всегда вначале везет. Он горячится, заламывает ставку за ставкой и куражливо подтрунивает над Шатулиным:

— Ерема, Ерема, сидел бы ты дома.

Шатулин играет осторожно и, сдвинув широкие брови, хладнокровно отбивается.

— Не разжевавши, не проглотишь.

— По саже хоть гладь, хоть бей, — все будешь черен от ней, — задорно наседает Блинов. И, выбросив кверху карту, кричит хвастливо:

— Восьмерочка! Хе-хе-хе... Карта веселый дух любит.

Время от времени засаленная рублевка переходит из рук Шатулина в карманы Блинова, и тот, выразительно похлопывая рукой по карману, визгливо бахвалится.

— Далеко свинье на небо смотреть, — смеется Блинов. И вдруг начинает скупиться на ставки. Раз, другой и третий карта изменяет Блинову. Настроение его резко падает; ему явно хочется оборвать игру.

— Что так? — холодно удивляется Шатулин. — Ай застыдобился?.. Жены стыдиться, детей не видать.

Ставки Блинова все скупее, все меньше. Шатулин уже давно перешел в наступление, и он язвительно допекает противника:

— Что за беда, во ржи лебеда: вот то беды — ни ржи ни лебеды.

Блинов молчит, прикусив губы, и лишь изредка сумрачно огрызается:

— Дурной глаз глянет — и осина завянет.

— В темноте и гнилушка светит, — злорадствует Шатулин. — Не верь, паря, словам, а верь глазам.

И, выиграв новую ставку, бросает широким жестом:

— Хозяин, что чирей, где захочет — там и сядет. Хошь на всю пятерку, Блинов?

— Ой, гляди — чужой хлеб приедчив, — чужой карман переменчив, — сердито огрызается Блинов.

— Свою клячу, как хочу, так пячу, — важничает Шатулин. И, поглядев пристально на Блинова, заносчиво бросает ему в лицо:

— Будет!

— Чего так?

— Да так! Ктой-ты таков теперь есть?

— А кто я по-твоему?

— Ты-то?.. Что у тебя в штанах? В одном кармане вошь на аркане, в другом — блоха на цепи.

Блинов смущается, молчит и потом ласково просит:

— Давай в долг...

— Долг на Долгой улице живет, — презрительно отчеканивает Шатулин. — В долг пироги куму печь проси! — И, обведя глазами присут-

ствующих, ехидно выпаливает, сгребая со стола карты:

— Без гроша и Москва вша.

Наконец-то получено долгожданное предписание: нашей бригаде расположиться на сутки в Ниско. Целые сутки, двадцать четыре часа кряду, будем наслаждаться покоем, будем отдыхать, растянувшись неподвижно на койке. Заманчивые мечты и убогая действительность! Мы вступили в Ниско утром, в одиннадцатом часу. Городок пылал. На улицах крик, рухлядь и пугливая растерянность. Кто-то рубил ворота и окна. Кто-то вытаскивал сундуки и перины. Толпы людей метались и плакали, роясь в обугленных обломках и перебегая от одного обгоревшего домика к другому. Сеял мелкий, медленный дождик, сеял пронизывающей пылью, поглощая огонь и искры и обращаясь вместе с огнем в дымную, свинцовую мглу. Из этой дымной и мокрой пелены странными и нелепыми силуэтами выпячивались солдатские фигуры.

— Как тут греху не быть, — ворчат солдаты. — Надо бы по закону сделать запрет...

По временам из тумана доносятся вопли и причитания жителей, отчаянно отбивающих свое добро... Но какое нам дело?

Мы расположились в той части Ниско, куда еще не добралось пламя и где уже сбились в беспорядке несколько воинских частей. Удушливый смрад полз по узеньким переулкам, загрязненным конским пометом и человеческими испражнениями. Зловонные, грязные дворы с раскрытыми настежь воротами были битком набиты людьми, лошадьми и артиллерийскими повозками. Солдаты в худых сапогах и неопрятных шинелях заглядывают во все квартиры. Всюду пробитые стены и зияющие рамы. Вчера, или неделю, или месяц тому назад тут были каменные ограды, железные решетки и крепкие двери, за которыми царили уют, довольство и мещанская аккуратность. Сегодня суровый голос войны врывается в зияющие пробоины...

И мы лихо вживаемся в кровоточащую мудрость. После двухчасовой перебранки, угроз и скулодробительной матерщины в проплеванной и прокуренной комнатке кое-как расставлены шесть офицерских коек, а на койках богатырски храпят измученные офицеры. Моя кровать — у окна без рамы. В большую пробоину на стене виден мощеный двор, где приютилась наша штабная команда. В двух палатках походная канцелярия. Тут же штабные писаря, кашевары, ординарцы и вестовые.

Прямо под окошками слышится сладенький голос Гридина, распекающего адъютантского

денщика Шкиру. Гридин — штабной фельдфебель, высокий, худой артиллерист из жандармов. Щеголеватый и тихий, с мягким, елейным голоском, вкрадчивыми движениями и зелеными лживыми глазами. С начальством Гридин угодлив, с солдатами — наставительно жесток. Его не любят и считают доносчиком. Славится Гридин своим уменьем добывать водку из-под земли.

— Гридин, нельзя ли поискать? — обращаются к нему офицеры.

— Слушаю-с.

И через минуту водка на столе.

Сейчас Гридин в нетрезвом виде — и распекает Шкиру:

— Этого ты никогда не смеешь, меня чтобы по морде лупить, — зудит его приторный голосок.— Потому я начальство тебе, а кажинный начальник перед тобою, как на лестнице стоит. Понимаешь? А который сверху — тот и плюет на тебя, как на мразь нечистую. Понимаешь?

Шкира — офицерский любимец, Дон-Жуан, силач и гитарист. Он не слушает Гридина, занятый наведением «глянца» на свои и на адъютантские сапоги. И, видимо, серьезно готовится к новым победам над местными красавицами.

Между солдатами команды, с картами в рукаве, шныряет Блинов в поисках партнера. Гридин замечает его и вкрадчиво окликает:

— Блинов, лошадок разамуничил? Лошадь —

животная благородная, уход любит. А ты, небось, бросил? Оставил без догляду? Тебе бы только языком трепать...

— Так точно, — умильно отвечает Блинов, подражая голосу Гридина, — язык не лопатка — знает, где сладко.

Солдаты бурно хохочут. Гридин торопится исчезнуть.

Несколько минут смутно гудят голоса, и вдруг четко выделяется чья-то завистливая фраза:

— А Юрецкий-то какое седло припер: английское! говорит, на чердаке отыскал.

Языки сразу развязываются. Говорят вслух — каждый, что думает, потому что на войне совершенно нет надобности оставаться неискренним и скрытным.

— Хорошо бы и нам пошарить.

— Ищи — свищи. Допрежь нас другие пошарили. Окромя как костлявых жидов и поляцкого цментажа (кладбище) ничего не оставили.

— Столько добра — всё прахом пошло. Как оглянусь округ — до̀ смерти жаль.

— Пужливый какой! А тебя кто пожалел? На то война: на смерть работаем.

— Тоже и им-то радости мало. Как поглядишь на них — и впрямь жалость берет. И от своих и от чужих беречься надо.

— Война соки повыкачает.

— На войне замки ржавые, а ребята бравые.

*

— Эх, эх! Наших грехов в два века не замолить.

— Что тут и говорить, — вмешивается Шкира. — Разве нашего брата спрашивали войну начинать? Через все земли крещеные война перекинулась. Эх!..

И заунывно затянул своим звучным баритоном под аккомпанемент балалайки:

Ох и ах мне вахлаку,
Не залить печаль-тоску.
Ты тоска, моя тоска,
Гробовая ты доска...
На ём крест лежит чижолый
Девяносто семь пудов...

Брожу, вернее мечусь по улицам Ниско. Промозглый воздух, пропитанный дождевою пылью, зловонием и гарью, делает городок похожим на обвалившуюся шахту, наполненную удушливым смрадом. Дышать тяжело и горько. Глаза слезятся от дыма. Лица покрываются копотью. Солдаты похожи на чудовищ. Недаром встречные жители с таким испугом и отвращением сторонятся от них. Всюду чувствуешь на себе эти злые, проклинающие глаза обывателя. Он смотрит на тебя волк-волком, и, надо сказать правду, он имеет полное право нас ненавидеть. От этой ненависти, как от зловония и гари, не спрячешься никуда. Это та оболочка,

которую мы, воюющие, носим с собою всюду, как земля носит свою атмосферу.

Вот на крылечке одноэтажного особняка солидный доктор в кожаной куртке чистит щеточкой зубы, а рядом с ним молодой рослый солдат разбивает тесаком большое трюмо, весело приговаривая:

— Ни нам ни панам.

Вот старая женщина бежит с мольбою за бородатым пехотинцем, который кричит, сердито отмахиваясь свертком, похожим на одеяло:

— Пошла, стерва! Тут тебе заступников нету. А то как раз штыком в пузо...

Так хочется вырваться подальше, туда, где нет этой вонючей гари, этих проклинающих глаз и плачущих старух. И страшно от мысли, что уйти некуда.

... Натыкаюсь на группу наших солдат у костра. Между ними Семеныч, Асеев и несколько пехотинцев.

— Ты чего это, ваше благородие, немцу дорожку вытаптываешь? — обращается ко мне Семеныч. — Ай нашим чаем не побрезгаешь?

— Страшно мне, сил не стало в халупе лежать, вот и мотаюсь по улицам.

— Это у тебя от пути еще оторопь не проходит... Округ на̀ сто верст леса древние, дремучие. Не то что дороги, а тропы в них не про-

ложено. Сюда и глаз человечий, почитай, с век не заглядывал. С испугов да с страхов разных душа, вишь, никак не поднимется...

— Ну, это какой страх? — перебивает Семеныча какой-то бородач в отрепьях. — От такого страху не сдохнешь. В окопах — вот он где страх! Под самую шкуру залезает. Вылез я это раз из окопа. Бяда! Рвутся снаряды грома тяжче. Округ стон стоит. Хочу итти — ноги не подниму, ровно кто за пятки хватает. Ни в праву, ни в леву сторону не гляжу — боюсь. Припал страх смертный, загреб за самое сердце, и нет того страху жестче. Ровно тебе за шкуру снегу холодного насыпали; лязгают челюсти, и кровь в жилах не льется: застыла вся. Взял я винтовку на прицел, ружье-то тяжелое, как пуд; завопил, захрипел по-зверьи, а курка спустить и не знаю как... Так и не смог, ровно обеспамятел...

Солдат что-то продолжает рассказывать. Я безучастно слушаю, смотрю в лицо рассказчику, и вдруг мне начинает казаться, что это тот самый бородатый пехотинец, который сегодня кричал на старуху: «Пошла, стерва! тут тебе заступников нету».

— И жалко не было? — обращаюсь я к нему неожиданно.

— На войне какая жалость? Не знает война заступника.

— На войне жалеть — себя загубить.

— На войне огнем да мукою, да кровью горячей, да слезами бабьими всю душу выжжет.

— Значит, не жалко? — пристаю я к бородачу. — И никто в ответе не будет, ни за кровь, ни за бабьи слезы?..

— Не нами война начата, не нам и в ответе быть.

Коль скоро речь зашла об ответственности, Асеев уж тут как тут. В его лице мировая совесть находит самого преданного заступника и паладина. Не скажу, поэзия это или мистика, но сектантская утвержденность Асеева действует с гипнотизирующей силой. Говорит он плавно и грустно, и глаза у него уповающие и просветленные.

— Бежит кровь по земле, — чеканит он певучим говорком, — напоила собою землю на аршин в глубину, и великая в той крови сила есть... Обручается земля с человеком на будущие времена, зовет земля к покаянию... Западает кровь в землю, как слеза в душу, целует землю тоска земная, просит-плачет: прости, мать-сыра земля, за безбожие и своеволие свое плачу кровью своей... И услышит земля покаяние, дыхнет дыханием праведным, повеет дух новый над землей...

Асеев единственный человек на войне, который ничего не берет у жителей и чрезвычайно

легко расстается с собственным гардеробом. В одном месте отдал сапоги, в другом шапку оставил. Ходит он босой, распоясанный. Лицо строгое, ясное, притягивающее. Вероятно, таких мужиков, как Асеев, воображал Толстой, когда писал Каратаева или сочинял свои сказки о праведных странниках и старцах.

Снова толчея в непролазной грязи и оголенные деревья. Люди такие же голые и ощетинившиеся, как колючая проволока. Злоба, сквернословие, разговоры и к вечеру отвращение к прожитому дню.

Едем, едем, едем, уже не интересуясь ни местом ни именем злополучной стоянки. После трехдневного перехода в мыслях такая же толчея, как на дороге. Вспоминаются какие-то непонятные встречи, знакомства и обрывки случайных фраз:

— Чорт знает что, точно начитался Достоевского до рвоты.

— Еще день такой жизни — и покончу с собой. Не могу.

Кузнецов, покачиваясь на своем иноходце, меланхолически философствует:

— Пей в радостях сердца вино твое, потому что в могиле нет ни вина, ни походов, ни вестовых, ни папирос.

И кричит зычным голосом:

— Башмаков, папиросу!

Башмаков, расторопный и юркий, подбегает к Кузнецову с папироской.

— Болван! — гневно раздражается Кузнецов, — сколько раз я учил тебя: с огнем подавай. — И сразмаху ударяет вестового стеком по плечу.

Я смотрю искоса на солдат: лица угрюмо-равнодушны.

Чем крепче вживаюсь я в военный быт, тем неоспоримее для меня, что здесь все еще господствует право «крещеной собственности». Солдат — бессловесный крепостной, обязанный выполнять беспрекословно все офицерские прихоти. Офицер командует, распоряжается, привередничает, дерется. Все поговорки солдатские, созданные казармой, напоминают старую барщину:

— Нужда учит, а солдатчина мучит.

— Солдатскими мозолями офицеры сыто живут.

— У солдата душа божья, голова царская, а спина офицерская.

Помню, на одной из стоянок командиру первого парка Кордыш-Горецкому вздумалось устроить ученье. В продолжение двух с половиной часов он гонял ездовых по кругу, заставляя их соскакивать с коней и впрыгивать на-ходу. А сам, стоя посредине с колоссальным

хлыстом в руке, выкрикивал басом: — ты чего — мать твою? — и изо всех сил немилосердно хлестал провинившегося по чем попало. Когда за обедом я спросил его, для чего ему понадобилась эта муштра, он коротко и сухо ответил: «для пользы службы».

С приездом Базунова такие учения прекратились, но рукоприкладство продолжает свирепствовать наравне с матерщиной. Бьют больно и злобно почти все поголовно: и командиры парков, и старшие офицеры, и бывший агроном Кузнецов, и студент Болеславский, и сын заслуженного профессора, молодой адвокат Растаковский, и другие прапорщики. Исключение составляют командир бригады Базунов и два прапорщика — Болконский и Медлявский. Некоторые прапорщики, как, например, Ростаковский, с каким-то умопомрачительным рвением упиваются мордобоем. В солдатских поговорках эта прапорщицкая ретивость отмечена очень колоритно:

— Не велик чин прапорщик, а офицером воняет.

— Не велик прапорщик пан, да офицером напхан.

По целым часам не двигаемся с места обессиленные, замученные, утопая в потоках грязи, в облаках конского пара, в оглушительной оргии проклятий, ругательств, ударов, которые сып-

лются на спины лошадей и на головы предков по материнской линии. По временам нас обгоняет пехота. Она бредет по бокам дороги, хмурая, сердитая, обмызганная и загадочно-замкнутая.

— Отчего они такие молчаливые? — спрашивает Костров.

— Богу молятся, — раздраженно ехидничает Базунов. — Не угодно ли?.. По сравнению с нашим столпотворением и Пуришкевич в Думе покажется молчальником... Да и о чем им, подлецам, разговаривать, когда они так и рыщут глазами, что̀ бы такое в карман сунуть: кусок сахару, котелок, походную кухню, заводную лошадь, пушку... Пехотинцы ведь это первые воры на земле. Такие социал-дымохваты, что ой-ой-ой... Ахнуть не успеете, как из-под носа самого Вильгельма упрут и в борщ сунут. Я их, прохвостов, во как знаю!

На привале подсаживаюсь к группе пехотинцев, отдыхающих на опушке леса.

— Дозвольте у огонька погреться?

— Мы не мешаем.

— Какого полка?

— Лохвицкого.

— Какой губернии?

— Разные.

Разговор не клеится. Я отхожу в сторону и, примостившись на корнях, слушаю. Сперва беседуют тихо; потом, забыв о моем присут-

ствии, говорят полным голосом. Лиц не вижу, но долетает каждое слово. Философствуют или сказки рассказывают.

— Как же ты говоришь, войска не было? Значит, и воевать не воевали?

— То-то и оно. Раньше все мирно жили, по-людски, а как стал султан против других силу собирать, видит царь, что всё султан себе заберет, ни клинышка не оставит, и послал царь к мужикам подмоги просить. Так и так, говорит, ни часочка радости не имею: навалился султан на мою землю, хочет красу-царевну в полон забрать, помогите, мужички, горю православному. Вас, мужичков, большие тыщи, много ли вашей судьбы уйдет — самые пустяки. А мне большую приятность сделаете, во век жизни не забуду. Распалились мужички, удержу нет. Разбили они все войско султанское, забрали землю турецкую и прямо с большого бою назад, в деревню к себе. Только в деревню пришли — глядь: ан царь-то снова к себе зовет. Да не просто зовет, а с вывертом. Дома-то у мужичка что? Дома жизнь тесная, тараканы, грязища и дух мужицкий густой. А царь, вишь, чтобы к войне-то мужиков приохотить, давал им в обед баранину, и кашу молошную, и по чарке водки; одно слово не обед, а как поминки по богатым покойникам. Известно, мужикам и понравилось у царя служить. Как пришли они опять на службу цар-

скую, царь и давай улещивать мужиков, чтоб у него навсегда остались. Вы, говорит, и воевать никогда не будете, и работать не будете, а есть-пить вдосталь. Ну, вот и остались у него мужики. Спервоначалу оно так и было, как царь говорил. А как старый царь помер, объявили мужики новому царю: «буде; отвоевалися; не хотим больше служить». Только вынул это царь грамоту печатную, а на ней старый царь печать свою приложил златым своим перстнем, а по перстню слова такие: «всегда, отныне и до веку». И остались мужики, как под замком каменным. С той поры и пошла служба царская...

Рассказчик крякнул, помолчал и наставительно закончил:

— Додумались, значит, как мужика силком закрутить. Д-да...

— Это правильно говорится, — подхватывает степенный голос. Потому, ежели с понятием рассудить, жил мужик при своем хозяйстве, жил тихо, мирно, повсегда при деле, николи и ничем не грешил, все сполнял правильно. А как погнали его на службу — душа от нежного оторвалась, и стал человек ровно свинья. Опять же, скажем, бросить ежели ружьишко в лесу, да махнуть сторонкой к себе в деревню — душа не подымает...

— Вот то-то и оно, — веско отчеканивает голос рассказчика, — присяга за̀ душу держит.

Тихо. Солдаты молчат. Думают или дремлют. Клубится пар по деревьям. И вдруг протяжная, тоскливая песня:

Не берлоги там звериные,
То солдатские квартирушки —
Залегли окопы черные
В чистом поле, на раздольице
Поперек легли — отрезали
Все пути нам, все дороженьки.
На родную, милу сторону.
Ах, ты пташка, пташка вольная,
Пуля резвая, порхливая,
Ты лети, лети на родину
Отнеси ты утешеньице:
— Вы терпите, детки малые,
Вы крепитесь, жены милые,
Уж вы, матери, порадуйтесь
На житье-бытье окопное.
Сладко пóжито — похóжено,
Вволю корушки погложено,
Опились слезами дó-пьяна,
Опоили землю-матушку,
Опоили кровью дó-тошна.
День да ночь мы богу молимся;
Оглушили небо дó-глуха.
Божья церковь — яма черная;
Образа, вить, часты выстрелы;
А попами — пушки гулкие,
Что поют про наши душеньки.
Пашню пашем мы в глухую ночь,
Не сохой — штыками, бомбами,
Не цепом молотим — пулями
По немецким по головушкам...

— На коней! — несется зычная команда, и мы опять зарываемся в болотную пучину.

... Проснулся от сердитого брюзжания командира:

— Поздравляю вас с сочельником. Игривый предвидится денек! Приходил старый пан, криком кричит, жалуется; у него, говорит, сын в армии служит, а мы своим постоем в конец его разорили: сено забрали, овес забрали, картошку забрали, лошадь с конюшни увели, амбары разграбили. Требует, чтобы я сам посмотрел, что они там натворили. Как же! Не насмотрелся еще?.. Этакие прохвосты! Двух часов не дадут почувствовать себя порядочным человеком. Так великолепно наелись, выпили, о философском поговорили. Полное, можно сказать, ублаготворение души и тела. Только дыши и радуйся на собственное благородство. Так вот тебе!..

За дверью шумят женщины, громко требуя, чтобы их допустили к командиру.

— Ну, чего я к ним выйду? — разводит руками Базунов. — Мазать их по губам хорошими словами? Очень им нужно. Какие ж еще лекарства могу я им предложить? Не платить же мне за солдатские грабежи. Да почем я знаю, кто грабил? Тут ночью Сурский полк проходил. Люди не обедали пять дней; — мне командир

полка сказал. Остановились на четыре часа и отсюда пошли окапываться. Вот и дознавайся, кто грабил.

— Нет, почему об этом в газетах не пишут? — оживляется Базунов, оседлав свою любимую тему. — Им все тр-рагическое подавай: гр-руды тр-рупов, гор-ры окр-ровавленных тр-ряпок, озер-ра кр-рови в тр-раншеях. Нет, вы про то напишите, как на войне мародером делаешься, конокрадом, грабителем, извергом, как детей на холод выгонять приходится, у мужика отбирать последнюю корову, последний кусок хлеба изо рта вырывать... вот вы о чем, подлецы, напишите! Про замученных постоем баб, про их плаксивые вопли, про необходимость ютиться у тех самых людей, которые осиротели по вине наших войск, и которых ты и сегодня, и завтра, и до тех пор будешь убивать, пока тебя самого, подлеца, не убьют...

Шестой день в пути без дневки. Передвижение идет и днем и ночью. Падает мокрый снег. От шоссе ни следа. Глубокие выбоины затянуты черной, липкой грязью, которая ровной гладью перекрыла все дороги; и только застревающие повозки и зарядные ящики да барахтающиеся лошади и люди свидетельствуют о глубине этой трясины. Командиры парков пи-

шут донесение за донесением, что они не в состоянии исполнять диспозиций, так как убыль в конском составе превышает более трети. Оставшиеся лошади, обессиленные отсутствием корма и отдыха, передвигаются по одной версте в час и падают на каждом шагу. Люди, измученные бессонницей, едва бредут. Поминутно приходится бросать повозки, двуколки и зарядные ящики. Все дороги забиты артиллерией, парками и обозами, идущими в разных направлениях и нередко силой пробивающимися вперед.

— Куда мы идем? — пристают офицеры к командиру.

— А чорт их знает! — раздражается Базунов. — Приказано: спешно итти на Янов. Вот и все. Указать точный маршрут не могут.

Нам всем хорошо известно и без пояснений, что спешат перейти через Вислоку и Сан. Ибо кто-то неведомый взрывает мосты. И чем погода ужаснее, тем легче это удается противнику. Холод сгоняет караульных к кострам. И тогда внезапно, неизвестно кто бросает пироксилиновую шашку, динамитный патрон — и мост взлетает на воздух.

Солдаты совершенно осатанели. Страшно смотреть, с каким остервенением они полосуют вспухшие бока лошадей. Молнией прорезывают воздух их едкие выкрики:

— Ну-ну!.. мать твою б-дь! И жрать не жрешь, и везти не везешь!

— Сворачивай, черти!.. Куда ни плюнь — везде санитарные отряды. Надо бы выдумать против них порошок какой, что ли. Сворачивай, говорят тебе, м... вша халатная!

— Ишь расхорохорилась деревянная артиллерия!

— Откормилось воронье на наших костях. У-у, рожу-то как разнесло, жиркотелы поганые.

Офицерские лошади давно припряжены к выносам, и даже командиры парков плетутся по пояс в грязи.

— Идем пёхом, как маршал Ней, — мрачно иронизирует Пятницкий.

— Игривая история! — покручивает ус Базунов.

— Шикарно! Шикардос! — басит немногоречивый Кордыш-Горецкий.

Наконец мы у опушки леса, на более плотном грунте.

— Привал! — командует адъютант.

— Земля, земля! — радостно размахивает руками прапорщик Болконский, и тут же, растянувшись на бурке, лепечет с блаженной усталостью:

— Еле-еле в с е л е волки церковь съели.

— Ребята! порции получай! — посвежевшими голосами кричат солдаты.

— Гляди, как у них! — завистливо бросают проходящие пехотинцы.

— А вы разве обеда не получаете? — спрашивает Костров.

— Дэж він, той обід? — угрюмо отвечает солдат.

— Яво в Кромском полку никогда не было и не будет, — подтверждает другой. — Может, вы от своего отольете? — говорит он, поднося котелок.

— Проходи, проходи, крупа! — отмахиваются кашевары.

— И у самих в брюхе мыши: кишка кишке рапорты пишет, — весело паясничает Блинов, помахивая котелком.

Я забираюсь в санитарную линейку, вытаскиваю из кармана записную книжку и погружаюсь в пережитое. В голове у меня вся эта шестидневная дорога сбилась в один плотный грязный колтун. Солдатская брань переплелась с бабьим воем, и графские замки с мужичьими халупами. Под хлопанье солдатских кнутов, под едкую матерщину в памяти неожиданно выплывают базуновские афоризмы:

— Одно из двух — или голодные солдаты или голодные галичане.

— Чтобы быть сытым, надо есть, т. е. забирать последнее у крестьян.

ПО ТЫЛОВЫМ ДОРОГАМ

ОКТЯБРЬ, 1914 г.

... Днем получено предписание двигаться безостановочно до Красника. Идем боковиной, крепко перетянув сапоги, чтобы они не остались в болоте. Грязь, просачиваясь сквозь платье, липнет к телу. От усталости еле дышим. Шагаем по скользким горбакам, ежеминутно рискуя скатиться в канаву, в которой жижи по горло. Раза два срываюсь, падаю, лечу с откоса. Руки исцарапаны в кровь. С час плетусь какой-то странной дорогой: под ногами шуршат большие твердые шары. Это — капустное поле. Мы давно отбились от части. Идем небольшим отрядом: адъютант, два доктора, человек десять солдат, два писаря, трубач и фельдфебель. Часам к десяти вечера доплелись до копны пшеницы, под которой кучка пехотинцев развела костер.

Гремят пушки, вспыхивают огненными бороздами выстрелы с разных сторон. Греемся у костра и обмениваемся стратегическими соображениями.

— Быдто, слыхал я от ординарца, — за Сандомиром бой сильный идет, — объявляет пехотинец, посасывая цыгарку.

— Яво за Вислу прогнали, а теперь через Сан не пропускают.

— Ишь ты! — удивляется другой. — И ему деть себя некуда. Не перескочит.

— Как по-вашему, одолеем мы немцев? — спрашивает адъютант.

— Надо бы осилить, — неопределенно тянет щетинистый пехотинец.

— Только, вишь, орудиев у него много. Как почнет крыть шрапнелью, неба не видно.

— Чаво там орудия! — откликается кто-то новый. — На какие хитрости ни подымайся, а ничего против силы не сделаешь. Наша сила сермяжная — земляным нутром тянет. Против нашей силы — терпения яво не хватит.

— Ну это ты зря, — возражает щетинистый. — Немца соломинкой не осилишь. Яво-то разве так учат, как нас?.. Пущай там война, аль не война, немцы сызмальства до всего приучены, что да как. У них и одежда, и пища, и орудия другая. И ладится у них не по-нашему... Не! немец не провоюется!

— Значит, по-твоему, проиграем мы войну? — допытывается адъютант. — И придется нам оторвать кусок России и немцам отдать?

— Ничем меня немец не обидел, — дипломатически уклоняется спорщик, — и воевать нам не за̀ для ча.

Потом он медленно развязывает мешок, достает большой ломоть хлеба и отщипывает краюшку.

— Может, и вам, ваше благородие, хлебца урезать? — обращается он добродушно к адъютанту.

— Давай.

Мигом вытаскиваются мешки, и пехотинцы угощают нас хлебо́м. Минут десять жуем и чавкаем. Некоторые выдергивают снопы из копны и тут же устраиваются под стогом. Гремят орудия, гулко раскалывая небо и выбрасывая потоки пламени. Издали клокочет шоссе железным лязгом.

Вдруг из темноты появляется фигура солдата. На нем рваная шинель в накидку. Шапка лихо нахлобучена на голову — козырьком к затылку. Лицо бойкое, цыганское. Из-под шинели виден гриф мандалины. Забубенная головушка. Осмотрев нас всех, он остановил взгляд на адъютанте:

— Дозвольте, вашбродь, к вашему шалашу!

Из темноты выплывают еще три солдата, такие же рваные и без винтовок.

— Садись. Кто такие?

— Ранёные. Из госпиталя. К своей части добираемся. Дивизии гренадерской, полка

московского, — сыплет он театральным говорком.

— Где ранены?

— Под Травниками. Шесть дён друг из дружки сок пускали. Испила земля и ихней и нашей кровушки.

— Эх! — протяжно вздыхает кто-то, ворочаясь на снопах. — Хуже зверя облютел человек. На каждом кровь чужая засохла... И кто ее придумал эту войну? Ни врагу ни нам от нее ни проку ни корысти.

Гренадер с мандолиной долго щурится на огонь, ухмыляется, показывая белые зубы, и бросает тоном привычного балагура:

— Чего, дядя, скарежишься? Война всем нужна.

— А какая в ней польза? Я в ево целюсь, он в меня целится. Как два разбойника. Вот и польза.

— А может и от разбойника польза? Про Тишку-разбойника слыхал?

— Валяй, валяй, — оживляются солдаты. — Сказывай про Тишку-разбойника.

— Вот!.. Едет раз мужичок. На возу клади сто пудов. И на хорошей бы лошади — ни тпру ни ну. А у мужичка лошаденка плохенькая и поклажа барская: с которой стороны чужую кладь ни ковырни — всё тяжело!.. Едет мужик с возом, мычит, кряхтит — поме-

реть впору. А навстречу ему шестериком сам барин. Поравнялся с мужиком:

«— Стой! — кричит барин. — Отчего у тебя, сукина сына, лошадь не везет?

«И давай матить и костить.

«Ан, глядь, — вырос из-за куста мужик, снял шапку, поклонился барину до земли да и говорит:

«— Пожалуйста, барин, ваше благородие, окажи ты такую милость мужику-дураку, подари ему левую пристяжную.

«Как взъерепенится, загремит барин:

«— Как ты смеешь, дурак ты этакий, мне говорить такое? Да я тебя!..

«— Уж сделай милость, барин, — пристает мужик, — подари мужику левую пристяжную.

«Еще пуще разоряется барин:

«— Да как ты смеешь?! Да знаешь ты, что я с тобой сделаю? Да кто ты такой?

«— А осмелюсь вашей милости доложить, человек я простой да маленький, а прозываюсь я Тишка-вахлак.

«Как услыхал барин, что перед ним Тишка-разбойник, стоит, куда и прыть вся делась.

«— А, — говорит, — здравствуй, Тишенька! бери лошадь, какая нравится. Пусть мужичок доедет с богом до дому; а я и пятериком доберусь, лошади ничего не сделается... После только пусть назад приведет.

«— Нет, уж, барин хороший, подари, пожалуйста, мужичку совсем лошадку! Не изволь, барин милостивый, отнимать лошадку у мужика. Не для себя прошу, прошу для твоего же здоровья.

«— Изволь, Тиша, изволь! Я для тебя, Тишенька, и совсем могу это сделать, могу совсем подарить. Изволь, изволь, миленький!

«Припряг мужик к возу левую пристяжную, взмахнул кнутом и в полчаса до дому доехал. Да еще и после сколько на той барской лошади ездил...»

— Мудреная сказка,— ухмыляются солдаты.

— Ай невдомек? — спрашивает рассказчик, лукаво поглядывая на адъютанта, и добавляет задорно:

— Может, война-то и есть тот самый Тишка-разбойник, что от барской шестерки левую пристяжную мужику отдать хочет...

И, польщенный успехом, гренадер ударяет рукой по мандолине и поет на мотив «барыни», с замысловатыми вывертами и коленцами:

Ты прощай, моя сторонка,
И зазнобушка и жонка.
Обнялися горячо —
И ружьишко на плечо.
Уж как нам такое счастье —
Служим мы в пехотной части.
Будь хучь ночью, будь хучь днем —
По болоту пешки прем.

Сядешь, ляжешь — невтерпежь:
Под сорочку лезет вошь.
Уж и гложет, и сосет
Цельну ночку напролет.
Вечер поздно из лесочка
Герман бьет шрапнелью в точку.
Уж такой талан нам, братцы,
Просто некуды поддаться.
Хучь и влепят пулю в лоб
Да с Егорьем ляжем в гроб.

— Веселый ты парень! — На все руки мастер, — говорит адъютант.

— Рад стараться! — вскакивает солдат и кричит, весело паясничая: — Человечек я махонькой, мужичонка плохонькой...

— Так вот в кого ты целишься... в левую пристяжную... Ну, нам пора! — поднимается адъютант. И мы пускаемся в путь.

Издали долетает еще голос веселого гренадера.

— От этого ждать можно, — вкрадчиво произносит фельдфебель Гридин. — Этот научит...

На переправе тьма войск. Мост длиною с версту, понтонный. Висла мутная. Течение быстрое. На другом берегу Вислы сразу бросаются в глаза следы жестокого боя. Здесь наши войска были вовлечены в ловушку. Неприятель отступил, очистив поле сражения верст на пять, и

укрепился за вторым рядом окопов. Его пришлось выбивать шаг за шагом.

Со звоном и грохотом скатывались с моста телеги, и люди вливались в водоворот, гудевший на шоссе. Но уже на третьей версте от Вислы все эти грохочущие волны схлынули куда-то в сторону и исчезли. Мы нагнали небольшой пехотный отряд под командой прапорщика. От него мы узнали, что бой тянется четвертые сутки. На второй день немцы отошли за вторую линию окопов. Пропустив нашу дивизию, которая первая ринулась вперед за уходящим противником, неприятель открыл жестокий огонь. Дивизия оказалась окруженной со всех сторон и прижатой вплотную к Висле. Бросились ей на помощь. Но мост, подожженный снарядами противника, пылал. Кавалерия, много раз пытавшаяся перейти через мост, не выдерживала огня и отступала с большим уроном. Кромский полк, дравшийся впереди всех, дрогнул и начал подаваться назад. Тогда противник, осыпаемый огнем наших батарей, пошел в атаку. Бывшие поблизости части приняли бой, но не выдержали и отступили. Наперерез отступающим бросился Сурский полк. Тогда повернули и Кромцы, и противник был опрокинут.

Сейчас идет бой во-всю. Все кругом точно растоптано и смято каким-то бешеным ураганом. Всюду валяются железные символы войны:

сотни пробитых пряжек, тысячи картечных осколков, груды жестянок, гильз и патронов. Развороченные снарядами окопы зияют свежими ранами земли. По бокам шоссе множество холмиков с торчащими из них ногами и руками. Судорожно скрюченные пальцы измазаны запекшейся кровью. А солнце горит и сверкает на медных пряжках, на банках из-под консервов, на патронных гильзах и матовых обоймах. Вся земля усеяна белыми тряпками и длинными марлевыми бинтами, пропитанными свежей кровью. Тут и там валяются изуродованные трупы неубранных австрийцев.

— Нам добре служить,—произносит вдруг Коновалов.

— Что ж хорошего в нашей службе? Ты посмотри кругом, что делается.

— Хиба ж мы вынны тому? (А разве это наша вина?)

— А ты как полагаешь, Коновалов?.. Знаешь ты, что такое комми-вояжеры?.. Разъездные приказчики... Так вот все мы, воюющие, — вооруженные комми-вояжеры английских и немецких пивоваров. И я принимаюсь рассказывать Коновалову о классовой борьбе, о пауках и мухах, о буржуазии, об империализме. Беседуем мы долго и обстоятельно. Благо, времени свободного у нас много и выразительными примерами устлана вся дорога.

Навстречу нам тянутся сотни раненых. Понурые, усталые, с белыми перевязками, сквозь которые алыми пятнами проступает свежая кровь.

Подхожу к одному, к другому, спрашиваю:

— Не видали, где тут парки стоят?

— Никак нет.

— А далеко до позиции?

— Верстов пять-шесть будет.

Сделали верст восемь.

Вот мертвые мадьяры, похожие теперь на японцев. У всех трупов вывороченные карманы; все обшарены и обобраны санитарами. Валяются кучи австрийских ранцев и сотни неприятельских ружей, расставленных широкими пирамидками по краям шоссе. Длинными змеями извиваются брошенные пулеметные ленты.

— Страшно? — спрашиваю я Коновалова.

— Ни, я не жалкую, що пийшов.

Без конца бредут раненые. Спрашиваю:

— Далеко до позиции?

— Верстов пять-шесть будет.

— А как дела?

— Там за рекой, ваше благородие, что народу побитого лежит! — возбужденно заявляет один. — Нашего брата как песку; а ихнего — еще больше; как грязи!.. Ой, и бьют же его!..

Усталые и голодные, мы сворачиваем с шоссе и забираемся в лес. Издали доносятся чьи-то

хриплые стоны. Подхожу ближе: срезанные снарядами деревья придавили группу солдат; они умирают в страшных мучениях. Головы измазаны кровью, руки и ноги перебиты, искалечены. С ними возятся в ожидании санитарной двуколки несколько пехотинцев и казак-ординарец.

— Навоевались! Эх, пальнуть бы раз из винтовки! Чего зря людям мучиться? Видишь, сами смерть кличут, — угрюмо говорит пехотинец.

— Разрядить недолго, — вздыхает казак, — да как бы беды не нажить. Им-то конечно, чего зря томиться?

Снова идем по шоссе. Попадаются группы пленных. Подхожу к отдыхающей группе австрийцев.

Они с ненавистью говорят о германцах, будто те подвели их и надули. Сказали, что русские отступают, и оставили в Новой Александрии и Ивангороде лишь небольшие заслоны. Австрийцы поверили. Думали, что города эти можно будет занять с небольшими силами, и теперь вот платятся за свою доверчивость.

А наши раненые солдаты в один голос твердят:

— Уж как его удалось нам отогнать — и сами в толк не возьмем. Пулеметов у него — страсть! Артиллерия жарит. Такой силы, как у него, еще не бывало.

Только в начале пятого попался нам какой-то осведомленный ординарец, и от него мы узнали, что головной парк стоит в деревне Пахна Воля, в двух верстах от позиции.

— А далеко еще до позиции?

— Верст пять-шесть.

Вечереет. Накрапывает дождик. По полю рыщут санитары с носилками. Солдаты раскапывают землю и вытаскивают ящики с патронами, наскоро зарытые туда отступившими австрийцами. Десятки трупов. Множество подстреленных лошадей. Неожиданно слышу радостный возглас Коновалова:

— Доктор Костров идут!

— Ой, елки зеленые! Как вы сюда попали, — кричит Валентин Михайлович.

Оказывается, Пахну Волю мы давно миновали. Неприятель только-что отступил, и парку дано предписание перейти на 4 версты вперед! Валентин Михайлович с воодушевлением рассказывает о боях, о наших победах. «Висла долго была красной от крови», — повторяет он много раз. В нашей бригаде есть много пострадавших. Ранены—Яблонский, Грогин, Гудим-Левкович. Убит разрывной пулей поручик Терентьев, молодой талантливый композитор. Валентин Михайлович вытаскивает из кармана разряженную разрывную пулю и показывает мне цилиндрическую капсулу, наполненную гремучей ртутью,

— Такая белая, красивая штучка, — философствует Костров, — а хватит по башке, — хуже господа бога поразить может.

Вдруг он останавливается среди дороги, смотрит пристально мне в лицо и произносит с печальной укоризной:

— Из Люблина едете и не могли догадаться...

— Е! — радостно отзывается Коновалов. — Усэ е: и водка, и ковбаса. На пункте.

— Да ну? — Эх, родина, великое дело!.. Отпразднуем победу над немцем! Уконтропим!

... Возвращаюсь в Люблин. Сижу в Новой Александрии в ожидании поезда. Каждый час отходят в Люблин санитарные поезда-теплушки. Каждый увозит тысячи раненых. Уже больше шести часов сижу на платформе. Давно перевалило за полночь, а санитары все приносят раненых. Платформа, вокзал, станционные комнаты, эвакуационный двор, все пути завалены ранеными, которые тихо стонут и терпеливо дожидаются очереди. Каждый поезд увозит тысячи, а взамен увезенных приходят с позиции сотни и тысячи новых — усталые, изнуренные, землисто-серые. Умоляюще смотрят они на санитаров и докторов. Во втором часу ночи над нами сжалились и пустили в почтовый вагон. Кроме пяти почтовых чиновников, в

вагоне находились: артиллерийский офицер 14-го мортирного дивизиона, поручик Астраханского полка, врач дивизионного лазарета 3-го кавказского корпуса, зауряд-чиновник с подвязанной щекой, прапорщик из Москвы и священник из Крыма, в орденах и с краснокрестной повязкой.

Лица у всех неприветливые и злые. Фрондируют, ругают начальство и русские порядки. Всех больше горячится доктор-грузин.

— Скажите, это порядок? — выкрикивает он своим гортанным акцентом, — это порядок, когда у нас триста санитаров, а кухни походной нет! Я говорю: дайте мне кухню, а они говорят: на триста человек закон не позволяет. Это закон? Такой закон надо сжечь, а того, кто исполняет этот закон, — повесить!

— Знаете, а я вот читал... — пытается вставить старший почтовый чиновник.

— Где вы читали? в газетах? Не верю газетам, — азартно отмахивается доктор. — Пишут в газетах, что немцы голодают, не-эт! Немцы не голодают! У каждого пленного в сумке — прессованные сливки, размешал в горячей воде — вот тебе молочный суп. У каждого немца — грибы сушеные, разные консервы. Это мы голодаем! У других на сучок в глазу показываем, а у себя бревна не замечаем. А какая у нас медицина? Аспирин — такое дешовое...

вещество — и того нет. Если бы мне пятьсот рублей в месяц предложили в мирное время, я лучше сдохну, как собака, а военным доктором не пойду.

— А я вот читал... — робко настаивает почтовый чиновник, — многие офицеры пишут...

— Где вы там читали? — горячится грузин.

— Да знаете, в дороге скучно, делать нечего, и я вот читаю открытые письма господ офицеров...

— Вы видите, какие порядки, — вскакивает доктор. — За это еще Гоголь ругал Россию... как он там? Почтовый чиновник Шпиков...

— Шпекин, — вежливо поправляет московский прапорщик.

По мирному времени это скромный буржуа: у него фабрика обоев. Сопровождал эвакуированных пленных в Сибирь. Теперь направляется в четвертую армию за назначением. На лице его полное внимание, но глаза лукаво поблескивают. Время от времени он вставляет ядовитые реплики:

— Русскому солдату по фунту хлеба в сутки дают. Кабы он свой не прикупал, давно бы вся армия с голоду околела.

— И хлеб на свои деньги, — пылко подхватывает грузин, — и сапоги на свои деньги.

Разве можно в казенных сапогах такие переходы делать?

Мой сосед, поручик с наивными голубыми глазами, произносит с суровой сосредоточенностью:

— А у меня брата убило... На моих глазах... В одном окопе сидели... Осколком в живот... Как вилами проткнуло. Слышу: кричит не своим голосом. Смотрю: кровь меж пальцами хлещет... За живот держится. На моих глазах умер. А я два дня после того пробыл в окопе и стрелял. И Вася тут же. Вот уж которая неделя, а все забыть не могу...

Артиллерийский офицер все время тихо переговаривается со священником. До меня долетают обрывки этой беседы:

— В армии теперь Пуришкевич, — сообщает священник. — Он устроил санитарно-питательный пункт... как же, как же... Энергичнейший, редкий человек... Свой поезд с кухней... Во время последних боев шесть тысяч человек накормил... И в сферах всемогущий. Железнодорожные власти трепещут... Чуть-что — летит телеграмма принцу Ольденбургскому... Собирается писать книгу о войне, под заглавием: «Что я видел».

— Интересно. А что же он напишет? — спрашивает артиллерист.

*

— Все, — важно отвечает священник.

— Да, он молодчина, Пуришкевич! — воодушевляется офицер. — Я очень рад, что член Государственной Думы видел все безобразия, которые здесь происходят. Помилуйте, ваш покорный слуга Христа ради выпрашивал кусочек хлебца у солдат...

— Извините, пожалуйста, — доносится с другого конца вагона гортанный голос грузина, — я разве дурак, или идиот, или сумасшедший, что главный врач вмешивается в мои способы лечения? Пишите, — говорит он, — что это умышленная рана. Не наше дело разбирать под огнем такие вещи. Пусть разбираются в тылу. Я не хочу участвовать в таких комиссиях, а меня заставляют...

Зауряд-чиновник с подвязанной щекой внимательно прислушивается ко всем разговорам и конфузливо и осторожно вставляет ни к селу ни к городу отдельные фразы.

— Без того война не бывает.

Или:

— Ихняя орудия тоньше, но длинше.

Понемногу вагон погружается в дрему. Только священник с артиллеристом все еще беседуют. Теперь громко на весь вагон несется голос артиллериста:

— Что за чорт? — рассказывает он с большим воодушевлением. — Ведут наши казачки

старого, престарого генерала. Форма на нем какая-то удивительная. В щеку ранен. Кто такой? Шталмейстер саксонского полка. Оказывается, такая история: вез он подарки германской армии от саксонского короля, да забрался чересчур далеко. Нарвался на наших казачков. Адъютант молодой успел выскочить и удрать. А шталмейстер глубокий старик, да еще второпях разбил каретное стекло и щеку себе порезал. При шталмейстере телохранитель остался, здоровенный детина. Ну, когда их доставили в Брест, телохранителя засадили под стражу, а генерала в лазарет положили. На второй день присылает он в штаб бумагу, об освобождении просит, ссылаясь на возраст и мирную миссию. Ему, разумеется, отказали, так как подозревают, что миссия у него была совсем другая. Не в подарках тут дело. Это, видите ли, только дипломатическая игра. По секретным сведениям штаба подготовлялся торжественный въезд саксонского короля в Варшаву, где предполагалось провозгласить его польским королем и от его имени издать манифест ко всей Польше.

— Понимаете! — изумляется священник.

— Да, да. Шталмейстер и сейчас в Бресте. Лежит в палате. Со всеми очень любезен и обходителен. Привезенные подарки нашим солдатам роздал.

— Шпион! — убежденно произносит священник. — Много их теперь развелось. Особенно среди иудеев.

— Да! Это вся нация шпионская! — веско подтверждает артиллерист.

В почтовом отделении задули свечу, и стало совершенно темно в вагоне. С минуту длилось молчание, потом послышался печальный голос поручика:

— Сколько дней в окопе вместе сидели. Бывало взвод засмеется, а они сейчас же на звук — тр-р-р — из пулемета. Опасно пошевельнуться. И вдруг «чемоданом» ахнуло... Я к нему... кровь хлещет, а он уж мертвый... Надо бы хоронить... Нельзя — бой идет. Два дня стрелял, а Вася тут же... Хотелось гроб сделать... Да где уж... Опустили в землю и хоть лицо платком закрыли... Не хочется, чтобы грязь в лицо... Который вот день, а все не могу привыкнуть...

— Привыкнете, — зевая говорит артиллерист. — На войне ко всему привыкаешь.

— А я вот, знаете, читал, — робко начинает почтовый чиновник, — офицеры пишут: пока еще с ума не сошел, но ад такой, что многие уже помешались...

Но его уже никто не слушает... Вагон спит: доктор-грузин, окаменелый поручик, окаменелый чиновник... И каждый из них кричит

о своем, о себе, о собственных муках. Может быть, они все охвачены предчувствием и томлением смерти? Или им мучительно надоело вечно думать об окопах, походах и снарядах, и каждому хочется хоть на миг стать самим собой, почувствовать себя не боевой единицей, а личностью — с собственной болью и собственными страданиями. Предо мною встает пройденная накануне дорога, вспоминаются сотни изувеченных трупов и десятки тысяч людей, шагающих мимо, в ожидании того же конца. Что же это за дикий гипноз? Неужели это страшное зрелище не приводит их к мысли о виновниках злодеяния? Неужели страдания, наполняющие здесь все дороги, все деревни, окопы, вагоны и лазареты — не вырвутся, наконец, из своих тюрем и не хлынут потоком ненависти против тех, кто превратил цивилизацию в бойню, утопил культуру в крови и теперь любуется делом своих рук, как подлинный Мефистофель?

НОЯБРЬ.

Трое в автомобиле: я, мой денщик Коновалов и шоффер. Едем со срочным донесением из Люблина на позицию — в Грушев. Холодно, ветрено. Над полями сизый густой туман. Дорога ровная, гладкая. Мчимся с скоростью

сорока верст. Пролетели мимо Горбова, Конской воли. Меньше чем через два часа мы в Новой Александрии и, не задерживаясь, летим дальше по радомскому шоссе. Проезжаю местами, где происходили октябрьские бои. Только нераспаханные поля и сожженные избы говорят о недавней бойне. А люди уже все успели забыть. На улицах Новой Александрии и Зваленя кипит суета. В Звалене ярмарка. Площадь стонет от грохота телег. На возах поросята, кабаны, битая и живая птица. Люди орут, торгуются, спорят. Сотни зипунов, кожухов и свиток сбиваются в кучу и расступаются, чтобы дать дорогу автомобилю; и потом вновь рассыпаются по площади.

К трем часам в Радоме. Грязные мощеные улицы. Двухэтажные каменные дома. Кое-где шикарные особняки. Много еврейских магазинов. Черные шпили старинного костела, с строгой музыкально-торжественной архитектурой. Певучие звуки еврейского жаргона мешаются с польской речью. Жители совершенно не жалуются на немцев, больше того — они их хвалят и рассказывают, нам в поучение, что офицеры за все добросовестно платили, не насильничали и женщин не обижали. Познанские солдаты, знающие по-польски, проводили все время в магазинах, служа добровольными переводчиками и посредниками между населением и войском. Разграблены были только брошенные

хозяевами дома. И еще подверглись разгрому все вокзальные здания: водокачки, пакгаузы и амбары.

В Радоме немцы пробыли 23 дня. Первыми отступили германцы. Отходили в полном порядке. Лишь в первый день отступления замечалась какая-то тревога. Сразу выступили из города все части: артиллерия, кавалерия и пехота. За ними беспорядочно двинулись вереницы автомобилей. Но уже на второй день не было ни малейшего замешательства. Некоторые части уходили даже с музыкой. Не похоже было на бегство и отступление австрийцев, сопровождавшееся ужасным грохотом, так как с двух часов ночи они начали взрывать железнодорожную станцию и вокзал.

В гостинице чисто, всю ночь горит электричество, но адски холодно: в городе ни куска угля. Топят торфом, но и тот на исходе.

За Радомом сразу попадаешь в царство старины и ветхой истлевающей жизни. Странное впечатление производит крепкое, точно стальное, шоссе, которого не сумели испортить даже немцы. Сейчас оно в полной исправности и весело бежит от одного средневекового польского городка к другому: Ильжа, Кунов, Нетулиско, Островец, Опатов. Высоко на горе, еще задолго

до въезда и Ильжу, виднеется серая круглая каменная башня старинного баронского замка. К сожалению, в своем настоящем виде Ильжа мало похожа на поэтическую легенду, которой она окружена. Это очень прозаическое местечко, состоящее из грязных домиков, жалких и ветхих, которые в два ряда расположились вдоль длинной, узенькой улички. Но серая каменная башня невольно настраивает на фантастический лад. Вблизи она еще величавее. Угрюмая и неприступная, она высится, как каменная баллада, и в ее мертвых развалинах таится какая-то волнующая тайна. Неудивительно, что вокруг этой башни наслоилось много таинственных рассказов.

Пока шоффер возился с лопнувшей камерой, старый ксендз успел рассказать мне некоторые из этих преданий.

Этот старый ксендз, эта причудливая башня и эти ветхие оборванные евреи на улицах Ильжи, — все показалось мне так мало похожим на современность, что я невольно воскликнул:

— У вас, достопочтенный каноник, наверно имеется напиток из корня мандрагоры, который сильнее камня, смерти и тайны?..

Ксендз хитро подмигнул мне и сказал:

— Не, я сам не держу. Но у жидов найдется, у жидов все есть.

Опатов еще фантастичнее Ильжи. При въезде в город древний костел, у таких же дряхлых городских ворот. Костел этот связан в преданиях с именем пана Твардовского. Внутри городка чрезвычайно ветхие домики с заплатанными крышами, гнилыми крылечками и подслеповатыми оконцами. На заборах кучи тряпья. И люди, населяющие этот нищенский городок, такие же дряхлые и убогие, как их дома. Весь городок с пятитысячным нищим населением напоминает декорацию из ветхого театрального реквизита. Запуганные евреи тревожно услужливы. Стоит вам обратиться к одному из них с вопросом, как десятки других наперебой стараются ответить, бегут за автомобилем, показывают дорогу.

Зато Кунов и Нетулиско сразу низводят с романтических небес на бедную землю, побывавшую в руках немецких завоевателей. Кунов — небольшое местечко, почти деревня. Сижу в корчме, пью чай и беседую с хозяйкой — белобрысой и краснощекой полькой. С большим раздражением рассказывает о немецком постое: простояли тут пять недель, сожрали на сто пятьдесят рублей сала — и всё даром, ни гроша не заплатили. А сколько добра попортили! Было их тут шестнадцать тысяч. Две недели германцы стояли, а три недели австрийцы. Артиллерия, пехота и обозы. Обращались с

жителями как с быдлом (скотом). И всё забирали: лошадей, коров, птицу, хлеб, сало, перины, одеяла. Чуть что — приставляли револьвер к голове и грозили убить. В корчме поместился штабс-капитан. Поминутно кричал во все горло: давай хлеба, давай гуся, давай масла, давай кофе! Не дашь — застрелю. Когда отступали, обмотали колеса у пушечных лафетов тряпками, подушками, одеялами. Лошадям морды перетянули, чтобы не ржали. В пушку по десяти выносов впрягали и потихоньку глубокой ночью выбрались на шоссе. В Нетулиско (в двух верстах от Кунова) большой чугунолитейный завод, закрытый после забастовки в 1906 г. В нем были австрийские казармы. Уходя, австрийцы увезли оттуда припасы на 150 самоходах (автомобилях). Были также «соколы» в четвероногих шапках с польскими орлами на гербах. Большинство подростки 16 — 18 лет. Начальнику лет под тридцать. Пели польские песни. Хотели забрать в свое «червонное войско» и местных парней. Мы, — говорили они, — добровольцы. Идем по своей охоте. Польшу спасаем. У нас денег много. «Соколы» не обижали. Только в Кунове двух жидов забили. Хвалились: заберем скоро Варшаву. Они молодые и глупые. Три дня шли через Кунов и Нетулиско «соколы».

— А русские стояли в Кунове?

— Раньше стояли. Когда пришло русское войско, его все кормили. Отдавали последнее. Русские солдаты не обижали. Только казаки. Да и те брали без денег у евреев; а у поляков мало брали.

— Немцы женщин не обижали?

— Не, женщин не трогали, — тех, что с мужьями. А без мужей — крепко обижали.

От Опатова до большого села Кобыляны и дальше мимо Иваниско, Батории и Сташово тянутся колоссальные окопы и фундаментальные земляные укрепления. Но боя здесь не было. Немцы отошли, даже не пробуя защищаться.

Вечером приехали в Сташов, уездный городок Келецкой губернии, расположенный на холмах. В городе еще не зажигали огней. Жители толпились у лавок и крестьянских возов.

Я обратился к ним с просьбой указать мне гостиницу. Мигом дюжина бородатых евреев заспорила между собою, где мне будет удобней. И в конце концов порешили, что нет лучше места, как у Хаима Бельцера, где все господа останавливались. На поверку, однако, квартира Хаима Бельцера оказалась грязным вонючим клоповником, откуда пришлось бежать без оглядки. Долго кружил я по Сташову. Наконец, подъезжаю к магистрату и спрашиваю:

— Нельзя ли у вас переночевать?

— Можно, только у нас очень холодно.

— А протопить?

— Дров нет.

— А достать?

— Негде.

— А все-таки?..

В нашем дорогом отечестве автомобиль обладает магической силой убеждения. Всякая просьба в устах военного человека у нас равносильна приказанию. Но когда военный сидит в автомобиле, то каждое его слово заряжает мирного обывателя энергией автомобильного двигателя. По первому зову обыватель кидается навстречу автомобилю и повинуется всякой прихоти его хозяев. Через 5 минут автомобиль наш стоял во дворе магистрата, а мы сидели перед камином, в котором весело потрескивали дрова. Прямо перед окнами магистрата высилось одноэтажное здание с небольшим решетчатым окошечком и лаконической надписью на дверях: «Сташевский детенционный арест».

Вся арестантская была завалена съестными припасами и вещами, которых немцы не успели захватить с собой при отходе. Сташевские летописи сохранили много рассказов о грабительской прожорливости германцев, которые, бросив стыд и щепетильность, предавались ежедневным набегам на обывательские сундуки и комоды. Приэтом каждый руководился

своим собственным вкусом и темпераментом. Романтики уносили часы, зеркала, этажерки; Дон-Жуаны брали дамские шляпки, ротонды, сорочки и драгоценные украшения. Скромные мечтатели, воодушевленные, быть может, идиллическими образами Германа и Доротеи, довольствовались перинами, подушками и одеялами. Более черствые души не брезгали кухонной утварью. А будничные прозаики нагружались съестными припасами и везли на родину скот, лошадей и птицу.

Великолепно спится в польском магистрате уездного города Сташова. Проснулся я в десятом часу и пока торопливо укладываюсь и глотаю горячий чай, беседую с евреем, заглянувшим «до пана казначея». Спрашиваю:

— С кем лучше — с казаками или с австрийцами?

— Э! Люди як люди. Голодные «злапàли хлеб и утèкли»; молодые «злапàли» девок. Австрийцы як казаки, казаки як австрийцы. На то вóйна.

Допрашиваю дальше:

— Казаки обижали евреев?

— Не дуже. Шукают гроши. Давай гроши. Ну, я просил их, нагодувал (накормил) и вони пошли соби.

— А женщин обижали?

Мой собеседник долго молчит. И потом произносит с болью:

— Було, пàни. Ой, було! Ночью ходят, пытают, где цурки (дочери) есть...

Слушаю это отрывочное повествование и вспоминаю рассказ одного трезвого созерцателя — офицера. Где-то во время боев под Львовом вошел офицер в халупу и потребовал сена. Хозяйка тупо взглянула и молчит. Он громче. — Молчит. Тогда, осерчав, он размахнулся нагайкой и крикнул: «Да ты что — оглохла?» Баба тяжело вздохнула и легла на постель.

— —

Как и следовало ожидать, в Грушове парка не оказалось. Головной парк стоит в Скальмерже. В Грушове я застал дивизионный лазарет в полном составе. Там узнал я, что шестые сутки на нашем участке идет отчаянный бой. Сейчас обнаружилось, что нас обходят с левого фланга. 83-я дивизия отступила и обнажила нашу дивизию. Кромский полк оказался окруженным и был частью перебит, частью сдался. Остальные части нашей дивизии сильно пострадали. Раненых без конца. За последние шесть дней через дивизионный лазарет прошло 1 200 человек. Но это капля в море. Перевязать всех

нет никакой возможности. Врачи падают от усталости.

— Мы изнервничались, измучились, — горячится доктор Шебуев. — А отчего? Оттого, что все дело в корне поставлено неправильно. Еще Пирогов учил: война — это травматическая эпидемия, и, как в борьбе со всякой эпидемией, здесь первое дело — организация! Надо прежде всего распылить, разрядить скопления раненых. Значит, необходимо привлечь к работе как можно больше народу. В такие решительные минуты, как сейчас, все врачи поголовно обязаны работать. А для этого необходимо искоренить узкий сепаратизм, царящий в нашем ведомстве. У нас врача спрашивают: ты какой дивизии? Иди в свой лазарет. И получается так, что одна дивизия завалена ранеными, ее госпитали не в силах управиться и с половиной работы, тогда как соседние лазареты и госпитали ничего не делают. Ведь это, согласитесь, абсурд! Конечно, человеколюбие приказывает мне мчаться туда, где нужны мои руки и моя хирургическая помощь. И, памятуя врачебную присягу, я, быть может, и склонен это сделать, но ведь там никто меня не накормит, и денег мне там не заплатят, потому что платить мне в-праве только моя часть.

«Врачебная организация на войне должна отличаться необычайной подвижностью. И

больше, чем где бы то ни было, здесь следует бояться застывших шаблонов и формалистики. Следует мобилизовать врачей моментально. В свободное от боев время они должны натаскивать санитаров и фельдшеров и приучать их к асептике.

«Такие помощники на войне — залог успешной работы. Врач, работая до изнеможения, по двадцать четыре часа в сутки, больше пятидесяти человек не перевяжет, что же делать с остальными, куда их девать?.. А ведь вся-то врачебная помощь сводится к простой перевязке. Операции ведь делать не станешь, когда знаешь, что каждую минуту лазарет может сняться, а у тебя не один и не два, а сотни раненых на руках. Подготовка к одной ампутации занимает не менее получаса. Да еще понадобится участие в операции всего медицинского персонала. А что прикажете делать той веренице раненых, которая ждет? Немедленно образуется пробка! И это в то время, когда с минуты на минуту ждешь приказания: возможно скорее убрать лазареты и обозы!

А ведь важно не только перевязать, но и накормить раненых. Должны быть выработаны раз навсегда строго организованные методы борьбы с «травматической эпидемией» на полях сражений.

— Вы забыли еще одну эпидемию, — говорит д-р Железняк, — эпидемию шпиономании, ко-

торой охвачены офицеры и солдаты. Вчера опять «поймали шпиона». Прибежали солдаты, возбужденные, радостные: «Нашли!» — Кого нашли? — «Да шпеона, вот, пымали! Полезли к пану в погреб картошку искать. А он что-то соломой накрыл. Глянули: телефон»... — Конечно, все это выдумки.

— А в чем дело? — спрашиваю я. — Откуда эта подозрительность?

— Снарядов нет. Артиллерия не может работать.

С утра дали знать по телефону в Скальмерже о моем приезде. Меня сразу охватила позиционная атмосфера. Трещат пулеметы. Хлопают орудия. Пачками рассыпаются ружейные залпы. Позиции совсем близко. В Грушов заехали за мной солдаты головного эшелона головного парка. Второй день они не у дел: снаряды все вышли. В местном парке [1] в Стопнице — снарядов нет. Послали эшелон в Мехов — и там нет. Говорят, завтра из Пинчова привезут. Не хватает ни снарядов, ни патронов. С батарей все время присылают с запросом:

[1] Местными парками называются базисные склады, откуда получают питание парковые бригады, доставляющие снаряды на батареи и в полки. Обыкновенно местные парки устраиваются в районе ближайшей железнодорожной станции, в товарных вагонах.

*

— Можно ли открыть непрерывный огонь?

А снарядов нет. Два дня тому назад, за два часа расхватали весь парк. И солдаты злобствуют.

— Не на кулачки же драться.

В Скальмерже среди офицеров настроение не лучше. Все повторяют:

— Есть и люди, и мужество, а снарядов нет.

С негодованием рассказывают такой случай. Вчера наши эшелоны метались по всем направлениям в поисках ружейных патронов. По дороге встретился им местный парк, переезжавший из Стопницы в Мехов. Стали просить у них снарядов. Ответ:

— Не дадим!

— Да выручите, — просят солдаты. — Совсем не хватает, придется из-за этого отступать.

А им преспокойно: «Никак нельзя. Не дадим. В дороге мы не парки, а транспорты».

Это напоминает классический ответ лазарета одного из госпиталей под Шахэ. Шли толпы раненых. Навстречу им лазарет. Просят: возьмите нас, — кровью истекаем. А им в ответ: «Невозможно. В пути мы не госпиталь, а транспорт. Возим шатры, а не больных».

Проснулся от непривычного грохота; казалось, кто-то огромной дубиной колотит по же-

лезному барабану, и от этого бешеного грохота содрогаются окна, дома, телефонные столбы и все предметы. Это бухали тяжелые австрийские пушки вперемежку с беглым огнем полевых орудий. В комнате стоял шум людских голосов. Ругались, кричали и требовали снарядов. Некоторые солдаты чужих (не нашей) дивизий кланялись в пояс и жалобно просили:

— Много их; без конца. Бьют из тяжелых орудий по окопам. А у нас всего одна цепь. Не выдержим, отступим, если артиллерия не поддержит. Христа ради снарядов, хоть малость...

Потом в помещение вихрем врывается офицер в романовском полушубке:

— Здесь парк такой-то дивизии? Где командир бригады Базунов?

— Зачем вам? Он в Люблине.

— У вас много снарядов. Мне начальник нашей дивизии поручил узнать, почему не отпускаете?

Ему объясняют положение вещей.

Он ругается, неистовствует, угрожает судом и всякими карами.

Прапорщики Растаковский и Болконский, отправленные за снарядами, не давали о себе никаких сведений; и на запросы батарейных командиров, когда ожидаются снаряды, приходилось отвечать чрезвычайно уклончиво, что

приводило их, конечно, в негодование. В то же время вследствие непрерывного движения создалась крайне тяжелая обстановка для парков. Люди не обедали по два дня. Лошади также оставались без корма, нечищенные и почти не разамуничивались ни днем ни ночью.

Полупарк, находившийся в Климантове, подвергся жестокому обстрелу.

После обеда прибыл прапорщик Растаковский с эшелоном из Мехова. В течение нескольких минут все привезенные гранаты и винтовочные патроны были разобраны. Неприятельские орудия не затихают ни на минуту. Офицеры режутся в карты. Время от времени из полков присылают за патронами, и мне приходится давать пространные пояснения. Все роли давно перепутались: доктора дают стратегические советы, отпускают снаряды и патроны, если есть, а офицеры вмешиваются в медицинское дело, прописывают лекарства и дают врачебные наставления. Все это считается в порядке вещей и не только нами, но и солдатами принимается, как нечто совершенно законное.

Игра в карты продолжается до рассвета, и всю ночь не смолкает австрийская канонада. Из-за темных гор, сотрясая морозный воздух, удар за ударом, доносятся пушечные раскаты. Бьют из тяжелых орудий и мортир. Полевые пушки молчат. Через каждые полчаса стучатся

солдаты за патронами. Но патронов нет. Солдаты со злобой спрашивают:

— Неужто с голыми руками драться?

И глухо ворчат о каком-то генерале, продавшемся немцам и задерживающем доставку снарядов.

Просыпаюсь, засыпаю и вновь просыпаюсь. Идет жаркая игра в карты. Лица нервные, напряженные. Перед каждым кипа бумажек. Выкрикивают крупные ставки 200, 300, 500 рублей.

В выигрыше заночевавший у нас артиллерийский капитан из Чернигова. Джапаридзе первый встает из-за стола и, вытянувшись во весь свой гигантский рост, ударяет энергично кулаком по столу:

— Баста, с сегодняшнего дня я больше в азартные игры не играю.

Командир 2-го парка Пятницкий меланхолически замечает:

— У меня такое настроение еще вчера было.

— Теперь и умереть не страшно, — восклицает Костров. — До нитки очистился. Яко наг, яко благ.

— На войне умереть никогда не страшно, — говорит, позевывая, Джапаридзе. — Мне кажется, на войне о смерти не думают. Некогда: или воюют или в карты играют. Сплошной азарт. Мысли о смерти, это — принадлежность мирного времени.

———

Согласно диспозиции, нашим паркам приказано разбиться на полупарки и эшелоны. Создалось чрезвычайно странное положение. Полученные в ничтожном количестве снаряды были израсходованы с молниеносной быстротой. Требования из полков совершенно не удовлетворялись. От командиров 1-й и 3-й батарей беспрерывно получались запросы: можно ли открывать огонь и не будет ли недостатка в снарядах? Не добившись ответа и забрасываемые неприятельским огнем, обе батареи, повидимому, решили отодвинуться. И действительно, видно было простым глазом, как батареи меняют позиции и все ближе и ближе придвигаются к Шклянам. Вскоре головной эшелон уже стоял на одной линии с батареями, и неприятельские снаряды стали ложиться невдалеке от зарядных ящиков.

Между тем от прапорщика Болконского получилось новое донесение: «В Пинчове столпотворение вавилонское. Съехались 4 парка почти в полном составе:

2-й парк нашей бригады,
1-й » 83-й бригады,
2-й » 83-й бригады,
1-й » 46-й бригады.

«Снаряды доставляются автомобилями из Кельц в очень ограниченном количестве. Все

парки набрасываются на них, как голодные волки. Приходится брать патроны с бою.

«Сейчас посылаю 17 патронных двуколок и 10 зарядных ящиков. Остальные надеюсь добыть завтра, хотя большой уверенности в этом нет.

«Все, что получу, немедленно отправлю. Прапорщик Болконский».

Из Мехова от прапорщика Растаковского получались сведения еще более печальные. Там в ожидании очереди скопилось 14 парков.

Слухи о полученных нами семнадцати патронных двуколках и десяти снарядных ящиках мигом распространились. Примчались из всех соседних дивизий. Солдат 46-й бригады со слезами на глазах упрашивал:

— Коленопреклонно молю вас, господа начальство! Хоть один ящик шрапнели.

Пришлось тронуть неприкосновенный запас...

В это время между командиром нашего корпуса и командиром дивизии шла оживленная телеграфная полемика. Командир дивизии доносил:

«Согласно В. приказанию остался на месте. Кромского полка не существует. Весь почти погиб в штыковом бою. Прошу в т о р и ч н о г о разрешения отступить. 83-я дивизия обнажила левый фланг моей и без того ослабевшей дивизии».

В ответ на это последовала следующая лаконическая телеграмма:

«Никакого обнажения дивизии нет. Приказываю собрать полки и перейти в наступление».

Одновременно по всему корпусу был разослан следующий боевой приказ:

«Приказ № 712. 8 часов утра.

Дерзкий враг решил сегодня напрячь все усилия, чтобы сломить наше мужественное упорство и смять левый фланг нашей армии. С божьей помощью я верю, что мы исполним свой долг до конца.

Да здравствует наш царь, родина и армия!

С богом на врага!

Генерал-лейтенант Р.»

Приказ читается вслух и сопровождается офицерскими комментариями.

— С богом, — сквозь зубы произнес Джапаридзе, — но без снарядов.

— Да-а, — усмехается адъютант Медлявский. — Теперь на запросы батарейных командиров, можно ли открыть непрерывный огонь, будем отписываться: попробуйте, только не шрапнелью, а «божьей помощью».

— Ой, елки зеленые! — громко хохочет Костров. — А хорошо бы зарядить пушку... кой-кем... Хор-рошо!

Седьмой час. Солнце чуть зарделось, как вспыхнувшая граната. В прекрасной торжественной чистоте стоят холмы, покрытые морозной пылью. Вдали, за холмами, лежит еще утренняя тьма, в которой задорно и весело перекликаются мортиры. Странно сказать, но эта музыка услаждает ухо.

Не надо обладать ни талантом ни красотой изложения, надо только с полной правдивостью рассказывать все, что сейчас совершается кругом, — и для каждого станет ясно, что это не просто бой, а какой-то сатанинский поединок, не нами начатый и в который мы втянуты помимо собственной воли.

Слепое буханье пушек победоносно и радостно перекатывается из долины в долину. Голова теряет власть над чутко настороженным телом, которое жадно прислушивается к свирепой музыке батарей. Я чувствую, как с канонадой и трескотней пулеметов на меня накатывает волна какой-то боевой хлыстовщины. Мне хочется гаркнуть, чтобы грозно прокатилось по всем холмам:

— Сибирь идет, етитная сила, держись!..

Так кричали сибирские стрелки, пришедшие на защиту Варшавы и прямо из вагонов бросавшиеся в бой.

— Шевелись! — лихо покрикивает фельдфебель. И весь захмелевший от собственного

крика порывисто повторяет в каком-то буйном азарте:

— Эх! Хорошо бы теперь выкатить на позицию и скомандовать: Первое! Второе! Лупи! На, получай, мерзавец!..

Канонада все крепнет; захлебываясь, трещат пулеметы. Ружейные залпы рассыпаются лихорадочной дробью.

— Снарядов! — орет взбудораженным голосом батарейный. — Чего копаешься? Ползешь, как мокрая вошь...

— А много «яво» набили? — любопытствует кто-то из солдат.

— Как клопов, — солидно отвечает батарейный. И тут же, загораясь, выкрикивает:

— Окоптил души чортов Вильгельм! Да дай ты мне его, сволочь смердящую, сюда, я бы ему голыми руками семь смертей сделал!

Без конца тянутся раненые и пленные. Выглянул в окно за обедом: вся улица запружена австрийскими шинелями. Лица измученные, синие, как шинели. На плечах белые одеяла. Ежатся и подрыгивают от холода. Все столпились вокруг нашего обоза: везет на позицию сухари. На глазах у всех происходит откровенная мена. Наши солдаты прикладываются к австрийским манеркам, а австрийцы жадно грызут наши сухари. Выхожу на крылечко.

Маленький бородатый солдат заявляет с наивным изумлением:

— В каждой жестянке водка!

— А ты почем знаешь? — спрашивает Джапаридзе.

— Ну вот. Сами дают отведать. Я и отведал.

В стороне стоят пять офицеров; один, молодой, в темно-синей короткой шубке, отороченной черным барашком, что-то говорит по-венгерски, и пленные весело идут дальше.

Вереницы раненых с землистыми лицами и окровавленными жгутами на руках и ногах сеют тревогу своими рассказами. По их словам, положение безнадежное. Окопы завалены трупами, масса убитых офицеров: убит командир Лохвицкого полка Фотиев, убит штабс-капитан Переяславского полка Баташов, прапорщик 4-й батареи Филонов. А снарядов все нет, и батареи все время вынуждены задерживать и ослаблять огонь.

Среди пленных оказались тяжело раненые. Их вместе с нашими ранеными поместили в заброшенной хате и оставили на произвол судьбы. К утру половина из них скончалась. Меня поражает равнодушие солдат перед трупами, и я не знаю, результат ли это фатализма или военной обезличенности? На наших глазах подъезжали телеги с трупами. Трупы свалива-

лись в разрушенной избе, — без окон, без крыши. И никто даже не полюбопытствовал заглянуть, кого привезли. К трупам относятся так же, как и к письмам, которые валяются в окопах. Иной раз подберет кто-нибудь такое письмо, прочитает несколько строчек, скажет небрежно: от жены, от брата, от матери — и снова бросит на землю. Это не столько эгоистическое равнодушие к чужому горю, сколько желание отгородиться от слез. Страховка собственных нервов. Кругом трупы, трупы и трупы. Развороченные внутренности, запекшаяся кровь, раздробленные черепа. А живые солдаты проходят мимо, словно не замечая ни крови ни мертвых. Они улыбаются, смеются, поют и между трупами выгребают картошку. В их шутках — намеренная бравада.

Из жажды жизни рождается боевой фатализм. Из боевого фатализма вырастает равнодушие к чужой смерти: так суждено, так полагается на войне!.. Это закон природы. Вот отрывок из интересного офицерского письма, подобранного в окопе:

«Только что вернулись с позиции и уже второй день отдыхаем. Девятнадцать дней мы были в бою. Жаркий и непрерывный бой днем и ночью, днем и ночью... Сколько жизней угасло! Но не нами предначертан закон, потому что война — закон природы. Иначе представить себе нельзя.

Прохожу мимо убитых — и хоть бы что. Вид их не трогает меня, как будто так и должно быть. Они уж мне не кажутся людьми. Т. е., понимаете, совсем не такими людьми, как я, вы... Они жертвы рока. И этих обычных при взгляде на мертвых вопросов они уже не пробуждают во мне. Или у меня уж такой характер? Но ведь раньше, бывало, проходишь мимо трупа — и зажимаешь нос, гримасничаешь или приходишь в ужас, а здесь, на позициях, совсем не то: как-то по-особому черствеет душа, и мертвых просто не замечаешь...»

Страшная обезличенность воюющих еще резче подчеркивается борьбою с невидимым врагом. Сражаются не люди, сражаются механические орудия. День и ночь, день и ночь извергают они с бешеным грохотом потоки свинцовой лавы. На сотни верст простирается власть грохочущих чудовищ. Дикий вой пушек, трескотня пулеметов и свист пуль сливаются в единую огненную песнь. Не пехота, не кавалерия, не армия решают судьбу сражений, а пушки, мортиры и пулеметы, устилая трупами землю, разворачивая окопы и окрашивая кровью Вислу и Сан. Люди, миллионы людей, стоящих друг против друга, — только беспомощные пешки в этой дьявольской игре. Как гигантские глыбы, сталкиваются враждебные армии, и в этом стихийном столкновении нет места ни воодушевле-

нию ни личной отваге. Солдат стреляет, убивает и умирает, не видя в лицо своего врага. Так проходят дни, недели и месяцы. Измученный бессильным ожиданием смерти, солдат начинает смотреть на себя как на игрушку в руках жестокой судьбы. И бойню, устроенную людьми, он принимает за глубокое таинство. Рычание мертвых механизмов и раскаленные ядра — за трагическое веление свыше.

На этой почве и вырастают всевозможные легенды и страхи, которые обыкновенно приносят раненые с полей сражения. Помню, после боев на Висле, услыхал я солдатскую легенду о белом всаднике, который в ночь перед боем заговаривал наши окопы. «Емки слова его и забористы, — рассказывал с воодушевлением старый солдат, — крепче щита булатного, жестче железа каленого, и ножа вострого, и когтей орлиных...» Это он послал нам победу на Висле. Он знает, кому суждено умереть в бою. Когда он объезжает окопы в ночь перед боем, тот, перед кем остановится его белый конь, останется цел. Есть солдаты, которые встречались с ним лицом к лицу: те в бою никогда не будут убиты.

Временами я смотрю на себя как на участника какого-то феерического маскарада: меня нарядили в форму военного врача и заставляют

присутствовать при самых необычайных зрелищах. События мелькают передо мною с такой молниеносной быстротой и в таких потрясающих картинах, что я почти забываю, кто я. Иногда я чувствую странную приподнятость и воинственность, вся земля из конца в конец наполнилась рычанием пушек и жужжанием шрапнелей.

Но бывают дни, когда каждый выстрел больно ударяет по нервам. И хочется очнуться, хочется сорвать с себя погоны и шапку и втоптать их в грязь. Вот стоит солдат с перебитой рукой и тупо, как грязная свинья, трется боком о дышло: раненая рука не дает ему возможности расправиться с назойливой вошью. Вот куча солдат у костра выжигает вшей из рубах и тут же, над котлами с картошкой, вытряхивают полуобгорелых паразитов. Может быть, следует сердиться на солдат за их отвратительную нечистоплотность? Может быть, еще более отвратительно то, что за братскими могилами, за буграми, где почивают в терновых венцах вчерашние герои и мученики, их боевые товарищи сегодня устроили отхожее место? Может быть, матерная брань под грохот мортир и пушек носит особенно кощунственный характер? Но когда молодые и сильные тела, как падаль, сваливаются в ямы, когда жирное воронье справляет радостный пир, а миллионы людей — обездолен-

ные, голодные и неоплаканные — умирают в грязных и холодных окопах, когда прекрасные, крепкие тела покрываются струпьями и гноем, когда собственными глазами видишь, что на смену XX веку быстро надвигаются XV, XIII, XI века, не веришь ни слуху ни зрению и ко всему относишься с полным безразличием. Какое мне дело до всех разговоров об изменниках и шпионах? Два раненых офицера состязаются в злобных измышлениях:

— У вас где имение? — спрашивает один. — В Орловской?

— Телегиных знаете? Межа с межой рубим.

— Знаю, знаю. Не люблю Орла: рвань город.

— Что вы? 80 000 жителей.

— Рвань! Чего хорошего! Маленькая Москва. Москва — рвань, а Орел — рвань рванью. Получше Тулы. Но Тула совсем сволочь! Там все беглые дезертиры прячутся. «Рябые» — знаете? Теперь там, куда ни плюнь — жид сидит.

— А мы одного на-днях с поличным накрыли, — оживляется второй. — Долго мы понять не могли, почему это, едва орудия установят, сейчас по нашим батареям палить начинают. И что же? Нашли телефон у жида в сарае.

— И чего с ними церемонятся — не понимаю, — возмущается противник Орла. — Ведь

в каждом аптекарском магазине вы найдете жида-шпиона.

— Да, да, — захлебываясь от радостного волнения, говорит орловский помещик. — У нас в другом месте поймали тоже солдаты жида-шпиона. Сидел в картофельной яме и по телефону все немцам передавал. Повели его к командиру; но по дороге не выдержали: прикололи мерзавца.

— И среди панов тоже довольно этого добра, — говорит первый. — Пошли наши козули (казаки) по картошку, а в погребе пан сидит, что-то соломой прикрывает. Глядь — аппарат. Ну, конечно, тесаком по башке долбанули — и крышка!

Этими злыми небылицами пестрят все разговоры в госпиталях, лазаретах, на биваках, в окопах, на батареях и в штабах. Кто-то усердно сеет эту отравленную ложь и ловко вплетает ее в наш боевой обиход. Возмушаться? Опровергать? Все равно истоки этой отравы не здесь.

Давно стоят крепкие морозы, а наши солдаты раздеты и разуты. Я раза два заговаривал об этом с Джапаридзе. Сегодня он с первобытной откровенностью объяснил мне:

— Придется солдатам мерзнуть. В пехоте другое дело: там с мертвых можно снять — с кого

сапоги, с кого полушубок. А у нас на это рассчитывать нельзя. Придется всю зиму мерзнуть. А впрочем, знаете что? Поезжайте в Люблин к Базунову и доложите ему об этом.

Вечером после беседы с адъютантом Медлявским решено было привести в исполнение план Джапаридзе: я еду в Люблин с донесением о бедственном положении бригады.

1915 год

В ЗАВОЕВАННОЙ ГАЛИЦИИ...

ЯНВАРЬ, 1915 г.

Сегодня канун нового года. Временно все три парка собрались в Тарнове. С утра раздаем привезенные подарки. Солдаты очень довольны. Смутил нас только Асеев своей сектантской несговорчивостью. Для него отобрали отличный романовский полушубок, валенки, ватные шаровары, папаху и рукавицы — полное зимнее обмундирование. В подборе вещей участвовала вся бригада. Отбиралось самое лучшее, но Асеев сурово заявил:

— Не возьму. Не надобно мне.

Его уговаривали, упрашивали, но он твердо стоял на своем:

— Не для ча. Не надобно мне.

— Ну, Асеев, вы просто обижаете нас, — обратился к нему Василенко, — мы из Киева подарки везем, а вы отказываетесь.

Асеев подошел к Василенко, отвесил ему поясной поклон и сказал твердо и решительно:

— Не хорошее мы дело делаем: людей убиваем, грабим, малых детей, как кутят, на мороз выбрасуем, а нам за это жертвенные вещи шлют. Разве ж можно?..

Всем стало неловко. Даже Базунов промолчал. Только фельдфебель Гридин не утерпел, чтобы не съехидничать:

— На что Асееву шуба? Он у нас как праведник андельский. Ему и на холоду как в божьем раю.

Адъютант Медлявский, втайне питающий некоторую слабость к толстовству, резко набросился на Гридина:

— Гридин, отчего лошади вспотели?

На что тот ответил со своей обычной подловатою вкрадчивостью:

— Это, ваше высокородие, оттого, что лошадки два дня на холоде стояли. А теперь из них холод и выходит, в свое состояние они входят.

После раздачи подарков мы с Василенко до вечера бродили по Тарнову и осматривали кафедральный собор. Собор был заперт. Мы обогнули его кругом. Заходящее солнце ярко освещало окна собора, и он горел как огромный фонарь. Обошли второй раз собор. Вышел пан пробощ — полный, высокий, благообразный ксендз, похожий на бабу. Обратились к нему — он вежливо отворил двери и согласился быть

нашим провожатым. Вначале был любезен, но холоден. Понемногу разговорился и стал рассказывать:

— На постройку собора,—объяснил он нам,— затрачено больше миллиона крон. Достроен он пять лет назад. Жертвовали все три Польши. В настоящее время на нем еще сто тысяч долгу. По грандиозности это первый собор в Польше. Такого нет ни во Львове ни в Кракове. Строил собор Львовский профессор доктор Зубржицкий, оконная живопись по проектам Стефана Матейко. Два больших окна обошлись по шесть тысяч крон. До сих пор бог миловал: собор не пострадал. Но, говорят, швабы подвозят сюда тяжелые орудия, и собору грозит серьезная опасность.

— Для чего вы запираете собор? — спросил Василенко.

— Собор запирается с двенадцати часов дня, так как был случай, что кто-то взобрался на колокольню. Во избежание неприятностей я сам просил о назначении стражи. Недели две тому назад мне пришлось пережить очень печальное столкновение с вашим офицером. Дело было вечером, уже стемнело, вдруг врывается ко мне на квартиру офицер с револьвером в одной руке, с нагайкой — в другой и в сопровождении солдат.

« — Вы ксендз этого собора?

« — Я.

« — Вы сигнализируете огнем! Я застрелю вас!

И целился револьвером.

« — Господин офицер! Я не младенец. Меня запугать нельзя. Если вы имеете право и основание меня застрелить — стреляйте. Только я хотел бы знать, в чем дело?

« — Это мы сейчас увидим. За мной — на колокольню! Там сигнализируют.

« — Но этого быть не может. Ключи у меня, костел заперт. Наконец, повторяю вам, я не ребенок и не стал бы сигнализировать, сидя в городе, посреди ваших военных частей.

« — Марш на колокольню. За мной!»

— Я отворил собор и стал взбираться по лестнице, но почувствовал себя дурно.

« — Г. офицер, я не могу итти.

« — Нет, ты пойдешь!

« — Я старый человек. У меня слабое сердце. Я не могу.

« — Молчи!»

— И снова направляет на меня револьвер, размахивая у меня над головой нагайкой.

« — Г. офицер! Я итти не могу... Не забывайте, что вы имеете дело со служителем церкви и с человеком культурным. Я два года обучался в Льеже — том самом Льеже, который варварски уничтожен швабами; два года — в Париже... Ведь вы имеете полную возможность

приставить ко мне стражу, чтобы я не удрал, пока вы будете обыскивать собор».

— Офицер подумал и смягчился. Приставил ко мне двух солдат, а с остальными полез на хоры и на колокольню. Шарил часа два и, разумеется, ничего. Стал я его расспрашивать, и выяснилась очень простая вещь: мимо собора проезжал освещенный автомобиль и сквозь широкие оконные стекла фонари автомобиля осветили внутренность костела. Проезжавшему с другой стороны офицеру показалось, что это огненные вспышки, которые он принял за сигнализацию. Отсюда и весь сыр-бор загорелся. На другой день я поехал с жалобой к коменданту, полковнику Беру. Это — гуманная и весьма культурная личность. «Культурный чло́вік!» — произнес несколько раз с ударением пан пробощ. Спрашивает меня: как фамилия офицера? какой части? Но разве я знаю? Человек грозит нагайкой и револьвером. Станет он при этом рекомендоваться?.. Обидно, что я совершенно не заслужил такого обращения. Да и подобает ли такой образ действий русскому офицеру? Ведь это не грубый шваб!»...

Когда ксендз высморкался, то под сводами точно загремела труба архангела. Ксендз аккуратно сложил батистовый платочек и продолжал:

— Заходил ко мне в собор один русский генерал и говорит: «Наши интересы солидарны.

Наша победа есть ваша победа, победа Польши. Если мы были к вам несправедливы, то только по наущению и настоянию ваших теперешних союзников — пруссаков».

«И я скажу вам откровенно, что вполне разделяю точку зрения этого генерала. Злейший враг Польши — Пруссия. Надо знать ее так, как знаю ее я, чтобы почувствовать это со всею силой. Ведь Пруссия умышленно издевается над нами! Как? Быть владельцем земли и не иметь права строиться на ней. Быть гражданином страны, платить налоги, служить в армии — и быть лишенным возможности говорить на своем родном языке! Что можно придумать ужаснее и наглее подобной гражданской пытки? И будьте уверены, что мы, поляки, не питаем большой симпатии к Пруссии. До таких издевательств над нами никогда Россия не доходила. Не говоря о том, что Россия нам просто близка по духу. Вот мы оба говорим на двух языках, но мы прекрасно понимаем друг друга. Это родство языков является лучшей гарантией близости духовной. А попробуйте столковаться со швабом.

— И сколько горя, сколько нищеты из-за проклятой войны. Приехал ко мне на-днях представитель варшавского комитета, просит об оказании помощи разоренцам из Царства Польского. Но откуда нам взять? Посмотрите на Тарнов: ведь тут повальная нищета. У меня

было десять тысяч прихожан, а теперь едва три наберется. Все разбежались. Осталась одна беднота, да еще совершенно беспомощная. Мужья на войне, дома только дети и женщины. Позвали меня сегодня к больной. Прихожу. Муж убит на войне. Мать в постели. А детишки — мал-мала-меньше, пять душ. Дал я им три кроны. На долго ли хватит? На два-три дня. А дальше — голод и смерть...»

Когда мы вышли из собора, было уже темно. Но по улицам сновало еще множество еврейских детишек, оборванных и грязных, которые настойчиво предлагали прохожим пряники, булочки, какие-то подозрительные конфеты, папиросную бумагу, сыр, махорку, старые газеты, пуговицы, свечи, открытки, испорченные батареи и крашеные патроны. Старухи протягивали руку за подаянием. Те, которым удается выпросить несколько гривенников на покупку муки, завтра же из нищих превращаются в торговок и с той же настойчивостью, с какой сегодня просили милостыню, завтра будут навязывать прохожим свой товар. Улицы кишат нищими. «Жить нечем» — этой фразой по-польски преследуют офицеров десятки старых евреек и детишек.

...Вечеринка в полном разгаре. На-лицо все наши офицеры и множество гостей. Публи-

ка разбилась на три группы в трех комнатах. Большинство играет в карты. Центром внимания является Кордыш-Горецкий; разговоров он не любит, и весь его несложный словарь исчерпывается вне служебных отношений четырьмя выразительными словами: шикарно! шикардос! слабеджио! и пардонато. Во второй комнате собрались любители выпить. Отсюда поминутно выскакивает денщик Болконского, неуклюжий Момут, и растерянно докладывает скороговоркой заведующему хозяйством:

— Так что ошибка вышла, ваше благородие, стакан разбился.

— Как же он разбился?

— Так что я почти что уронил его на землю.

В третьей комнате идет нескончаемый спор при участии Базунова, Кострова, Джапаридзе, Василенко и нескольких гостей. На этот раз застрельщиком выступил Медлявский.

— А ведь, знаете, Асеев ведь прав... Он только смелее многих...

— Дурак ваш Асеев! — резко вмешивается Джапаридзе. — По совести его бы надо под суд отдать.

— Нет, по совести говоря, за что его под суд?.. Вы только подумайте, из-за чего мы воюем? Отчего безропотно плетутся по колено в снегу обозы? Отчего бредут, спотыкаясь, раненые? Отчего покорно гниют и зябнут в окопах сол-

даты? Даже лошадь — и та вдруг ляжет — и ни с места! А мы, нехотя, против воли, зябнем, мерзнем, голодные, вшивые, раскалываем друг другу черепа, лезем на штыки и не выпускаем до самой смерти винтовки из коченеющих пальцев. Отчего?

— Отчего, отчего?.. От страха, — с оттенком брезгливой иронии в голосе говорит Базунов и, по обыкновению, пускается в язвительное резонерствование. — Вы думаете, когда солдаты прут друг на друга в штыковом бою, это делается из молодечества? Как бы не так! Это — храбрость отчаяния. Не пойдет — расстреляют, а пойдет — может быть, уцелеет. Да он и не рассуждает. Страх подсказывает ему, что надо повиноваться. Вы думаете, если у нас не стреляют свои же по отступающим из пулеметов, — все равно: каждый солдат постоянно чувствует за своей спиной наготове такой же пулемет.

— Совершенно согласен с вами, — сдержанно заявляет Василенко, — я всецело согласен с вами, Евгений Николаевич. Если б затратить одну десятую тех жизней, которые гибнут на войне, весь мир можно было бы перестроить совсем по-иному... Но у людей не хватает нужного мужества.

Первому парку вместе с управлением приказано передвинуться в селение Рыглицы. Идем

вдоль фронта по крутым подъемам и скатам Карпатского предгорья. Первые пять верст — довольно сносные. Потом начинаются топи, измолотое шоссе, выбоины, засасывающие колеса и лошадей. Едем со скоростью двух верст в час местностью, напоминающей юго-западную часть Келецкой губернии, с холмами и крутыми провалами. Чем дальше на юг, тем выше холмы и громче удары пушек. Обычная человеческая жизнь, «штатское положение», как говорят солдаты, отходит куда-то в сторону, прячется; и начинается откровенный быт войны: ряды резервных окопов, земля, развороченная фугасами, каменные скелеты сожженных домов, группы пленных, уныло подгоняемых сзади, вперемежку с группами раненых, ковыляющих по колено в грязи, скрипучие артиллерийские возы, едущие с фуражировки и еле видные между двух вьюков сена, зарядные ящики, шестерики, выбивающиеся из сил, ядреная солдатская брань, хмурые, серые солдаты с винтовками и патронташем, бредущие на отдых с позиции или возвращающиеся с ночевки в окопы, и, наконец, стрекотание пулеметов и отчетливая пальба пачками.

Война, таинственная в тылу, для нас давно потеряла это свойство. Жажда волнующих настроений утолена и исчерпана до дна. Чувствуешь только необходимость беспрерывно про-

двигаться вперед, жить готовым приказом, убивать понятия и желания, таящиеся где-то в глубине души, умалять до ничтожества свою личность и довольствоваться древними радостями человека, необходимыми нам по свойству нашей животной природы. Это не так ужасно, как кажется. Ломая инерцию привычки, человек легко приучается жить не думая. Смотришь сквозь пальцы на грабительскую работу солдат на стоянках. Какое нам дело до этой худой и слезливой бабы с подвязанной щекой, раздражающей нас своими плаксивыми причитаниями: чиста руина, хлеба нима, соли нима, люди знищенны[1]... Какое нам дело до этой группы грязных оборванцев, в сапогах, обмотанных тряпками, бледных, измученных, которые называют себя изборским полком? Или что нам до того, что такая масса солдат без сапог, в одних портянках, шагает по холодной грязи? Разве мы сами не выбиваемся из сил и ветер не сбивает нас с ног?

В два часа дня мы подъехали к Тухову, местечку, где накануне еще были австрийцы. Они установили свои орудия на горе, за костелом, и наши, обстреливая их позиции, совершенно разгромили местечко. Уцелели только

[1] Сплошное разорение, хлеба нет, соли нет, все обнищали.

костел, магистрат и аптека. Остальные здания сожжены и разбиты снарядами. Повсюду снесенные и развороченные крыши, высаженные рамы и двери, груды жести, камня и балок. Людей не видно. Лишь кое-где попадаются растерянные фигуры обывателей да мелькают военные санитары. Здесь помещаются санитарно-питательный пункт Государственной Думы и два лазарета. Но едва мы устроили привал на краю дороги, в сравнительно уцелевшей хатке, как десятки детишек столпились вокруг нашей походной кухни. Они стояли с разинутыми ртами и жадно, как собачонки, набрасывались на каждый кусочек хлеба.

Из Тухова двинулись в Седлиску. Дорога лежит через мост на реке Бяле. Но самый мост взорван, и переправляться приходится пониже, в стороне от насыпи, по очень топкому месту. Потянулись мучительные часы. Лошади валились в грязь, и, обессиленные, надорванные, ни за что не хотели подняться. Кричали, били, подталкивали — не встают. Собралось десятка три понтонеров и принялись словесно подбадривать лошадей. Но и это не помогло. Упавших лошадей пришлось выпрячь и оставить, пока наберутся сил, в грязевой ванне. Только к вечеру дружными усилиями атриллерийских кнутов и понтонерских увещаний лошади были вытянуты из грязи, и мы двинулись дальше.

Едем где-то близ самого фронта. Щелкают ружейные выстрелы. Дзынкают пули.

Вечереет. Чем гуще тьма, тем злее солдатские слова.

— Говорят, царь в главнокомандующие хочет, — доносится злобно из темноты.

— Ага! Егория захотел, — поясняет другой голос.

— Кому что: царю Егория хочется, а царице Григория (Распутина)...

Проехали версты две и опять очутились в непролазной грязи. Темно. Дороги не знаем. Люди и лошади измучены. Решаем вернуться в Тухов и там дожидаться рассвета. Совершенно случайно в Тухове набрели на дряхлый домик, в котором одна половина — комната с кухней — отлично сохранилась. Выбиты только наружные стекла. Внутри тепло, уютно и чисто. Хозяйка, 67-летняя старушка, почему-то чрезвычайно обрадовалась нам, уступила нам все помещение, и только выпросила себе за гостеприимство свечку, так как ни в Тухове ни в окрестностях ни свечей ни керосину достать нельзя. Детей у нее нет; все близкие померли. С шести часов вечера ей приходится оставаться одной впотьмах и молча прислушиваться к канонаде. О чем думает старушка в эти долгие сумеречные часы?

Все время грохочет пушечная пальба. Протяжным рычанием разносятся выстрелы горных орудий. Изредка долетает с севера, вероятно, из-под Тарнова, глухое буханье тяжелых снарядов.

Приехал ординарец из Тарнова и передал, что по городу стреляли. Выпущено было восемь снарядов. Некоторыми из них разрушен вокзал. Штаб корпуса передвинулся: осколок снаряда упал возле почты. Над городом все время кружился неприятельский аэроплан. Не выяснено, были ли это выстрелы из тяжелых орудий или бронированному автомобилю снова удалось, как в первый день нового года, прорваться сквозь нашу цепь.

Ночь была беззвездная. Вместе с прап. Виляновским и К. П. Василенко бродили мы по сонному местечку. Говорили о поляках и о польском вопросе. Рассказывали Виляновскому о встречах с ксендзами. Вспоминали слова Евгения Николаевича, что нет никакой черты, отделяющей Зап. Галицию от Царства Польского («что между ними границу провели это пустяки»), что это один народ, живущий единообразной жизнью по обе стороны границы, и что никакими усилиями нельзя истребить в нем чувства единства. Виляновский поне-

многу таял. Стал рассказывать о волынских и подольских помещиках, которые поддерживают неослабную связь с Варшавой. Говорил о двух культурно-идейных центрах Польши: Варшаве и Кракове.

Незаметно мы перешли через мостик и очутились на окраине местечка, где расположились обозы. Перед нами развернулась картина, полная глубокого настроения. Неподвижно стояли темные очертания гор. В густом мраке, прорезанном огнями костров, шевелились и плавали людские тени. Фыркали лошади. Гремел по камням ручей. Пугливо вздрагивал воздух от орудийных залпов. То тут то там обрисовывались отдельные возы, конские морды и серые солдатские группы, выхваченные пламенем из темноты. Мы подошли к костру. На большой охапке сена, завернувшись в шинели, дремали два бородатых солдата, а над головами у них кружили тысячи искр. Трое других сидели на корточках вокруг костра. Четвертый поддерживал огонь, подкладывая заборные колья, и оживленно рассказывал:

— Только мы разгрузились и отъехали с полверсты, — как загрохотало и прямо через дорогу бухнуло. Ну, ладно. Едем мы дальше. А оно опять как загудит: будто под нашими ногами. Глянули, а уж на вокзале что-то горит. Ну ладно. Узнали, куда попало, и дальше.

Так четыре раза оно гряхнуло, и от разу до разу минут по двадцать. Два снаряда через дорогу перелетели, а двумя в вокзал попало. После сказывали, он по городу стрелять начал. Только нам уж не видать было.

Слушали, молчали.

Подошел бородатый солдат, покряхтел и неопределенно бросил в пространство:

— Хорошо бы полежать у огня.

— Ложись, где снегу побольше: мягче бокам будет, — шутливо ответил голос из темноты.

Подходили другие солдаты, с тяжелыми бревнами на плечах, складывали у костра свои ноши и молча смотрели в темноту, где огненными волнами колыхались такие же костры, вокруг которых сидели такие же бородатые фигуры. Вдруг, щемя и волнуя, поплыла печальная песня:

Ой не спится в ночь осеннюю,
Льются слезы, слезы частые,
Подкатилось горе лютое,
Подкатилось, присосалося.
Сирота ль ты, сиротинушка,
Горемычная головушка,
Да ты спой-ка с горя песенку
Про житье свое военное.
Не крута гора, не горушка.
Ты тяжка-высока крученька;
Середь поля-долу чистого
Из костей мужицких выросла,
Где катилась речка малая,

Берег с берегом не сходится:
Опоили землю-матушку,
Опоили кровью русскою,
Кровью русскою солдатскою.
Уж ты смой, вода студеная,
Ты стуши нам раны жгучие,
Припокровь, сосна зеленая,
Ты головушки победные.

Пение оборвалось. Раздался внезапный треск: это осел домик, откуда таскали бревна.

Фыркали лошади. Гремел ручей. Чутко вздрагивал воздух, сотрясаемый тяжелыми выстрелами.

Углубясь в темноту, Василенко тихо заговорил, как бы думая вслух:

— Почему-то эта картина переносит меня к австрийцам. Когда рассматриваешь австрийские окопы, невольно бросается в глаза их основательность и прочность. Я даже сказал бы, если бы это не звучало кощунством, их любовь к труду и культуре... Там, на Западе, все с точностью измерено, вычислено и приведено в ясность, а у нас все беззаботно, лениво и по-чеховски грустно, как эти великолепные ночные узоры. Там — военная четкость, дисциплина, биваки, а у нас халатность, костры и ленивый чумацкий табор. Там — твердое желание воевать, а у нас — мечтательность, пение и тоска... Кто ж победит в неравном споре?

С раннего утра грохочет горная артиллерия. Позиции как будто придвинулись ближе. От каждого удара вздрагивают оконные стекла и отчетливее слышны разрывы. Из-за гор долетает урывками ружейная трескотня. С каждой минутой я все больше вживаюсь в быт войны. Знаю, что где-то за горами, окружающими наше крохотное местечко, тянутся грязные дороги, соединяющие нас с остальным миром. Но с каждым днем эта связь становится призрачнее.

Вечером все вместе пошли в гости в дивизионный лазарет, к докторам. Живут они в доме ксендзов, которые отвели им две комнаты. В комнате ординаторов застал младшего ксендза, викария, — молодого, белокурого, в очках, лет двадцати пяти. Зовут его Марьян Габэла. Лицо бледное, добродушное, мягкое. Сразу располагает к себе и внушает доверие. Кажется, искренне верующий. Пытается говорить по-русски. Отношения с врачами товарищеские.

Шутят, смеются, похлопывают друг друга по спине, борются, говорят друг другу в лицо печальные истины. Доктор спокойно иронизируют. Молодой ксендз легко горячится и впадает в патетический тон.

— Когда вы в первый раз шли под Краков, — говорит он, волнуясь, — вас население Гали-

ции приветствовало все. Вы забирали скот, лошадей, овес, сено, хлеб. Это было тяжело. Но вы относились к нам хорошо. Мы понимали: война есть война. Не станете же вы возить с собой сено и мясо, когда все это можно достать в Галиции. И мы давали, а вы за все платили.

Теперь вы все превратились в грабителей и мародеров. Вы забираете последнюю корову и обрекаете на голодную смерть несчастных малюток. Посмотрите на наших детей: они бродят, как тени, — голодные, тощие, бессильные. Они тают на наших глазах — и мы не в силах помочь им. Вы вырываете у них изо рта последнюю корку хлеба. Вы издеваетесь над нами. На моих глазах вчера солдаты ваши взяли пару волов и предлагали за них сто рублей. Мужик заплакал: бога вы не боитесь. Тогда солдаты ударили его по лицу и угнали волов, ничего не заплативши. Вся Галиция содрогается при мысли, что вы можете победить. День вашей окончательной победы будет днем революции в Галиции. Вас ненавидят теперь все слои населения. Вы поступаете, как лютые звери. В Дембице ваши солдаты изнасиловали шестьдесят девушек. Это не слухи. Их возили в Тарнов для освидетельствования, и позор их удостоверен вашими же врачами. У нас в Рыглицах десять солдат в течение ночи насиловали

32-летнюю женщину, а к утру она умерла, замученная ими. А вот уже подлинное варварство, от которого пахнет чистейшим гунном: в пяти верстах отсюда ваши солдаты изнасиловали 60-летнюю старуху!...

У ксендза выступают слезы на глазах. Доктора, чтобы рассеять неловкость, отшучиваются.

— Как бы там ни было, а победа останется за нами.

— Кто знает? — уже шутливо в тон им отвечает ксендз.

— Был я сегодня в Тухове. Рассказывали мне там, что наши пошли в атаку и захватили батальон ваших новобранцев.

— Держи карман, пан викарий, — смеются доктора. Это ваши все в плен сдаются.

— Сдавались, а теперь конец. Больше на это не надейтесь.

Я оставил пикирующихся докторов и пошел на другую половину — к пану пробощу. Я сразу узнал его: это тот самый ксендз, которого мы повстречали два дня назад при входе в костел. Личность чрезвычайно интересная. Тип — иезуитского ксендза старинного склада: нервный, умный, насмешливый, превосходный спорщик и талантливый актер. У него прекрасно-наметавшийся глаз, сразу прицениваюшийся к собеседнику. Беседовать с ним — громадное на-

слаждение. Ни одной ложной интонации ни одного фальшивого звука вы не услышите от него. Говорит он уверенно, ярко, как искусный оратор. И кажется, что курчавая, черная, чуть посеребренная сединой голова его битком набита интересными мыслями.

В разговор он берет человека сразу, психологически оглушает его, так сказать, своей неожиданной прямотой, в которой все великолепно обдумано и рассчитано.

Едва я вошел к нему, он обшарил меня своими живыми, блестящими, черными глазами с головы до ног, и, вежливо сгибаясь, сказал густым приятным ласковым баритоном:

— В Кракове есть комендант, полковник Альбори, командир 2-го гвардейского корпуса. Если бы вас поставить рядом с ним, то родная мать не отличила бы, который из вас обоих ее сын. Вы итальянец, конечно?

Ксендз перехватил мою улыбку, отразил ее в собственных глазах и продолжал с эффектной торжественностью:

— Быть может, вы сами того не знаете. Но ваш римский профиль раскрывает ваше происхождение под платьем русского капитана. Кто знает, не потомок ли вы одного из тех воинов, которые под командой Юлия Цезаря истребляли белокурых германских варваров? Или, может быть, предки ваши произносили

зажигательные речи к народу на римском форуме? Вы не чувствуете их присутствия в себе в настоящую минуту?

— Итальянец я или нет, пане ксендже пробоще, я обладаю римским носом и профилем на законном основании. Но откуда у вас, скромного галицийского служителя церкви, облик и темперамент испанского тореадора?

Ксендз мечтательно посмотрел на меня и, точно доверяя мне сокровеннейшую тайну, сказал с подчеркнутой искренностью в тоне:

— Меня зовут Якуб Вырва, и предки мои все Вырвы — чистейшие поляки. Но в числе моих прабабок имеется одна «жидувка» — крещеная еврейка, в жилах которой, весьма возможно, текла испанская кровь.

— Так что, кто знает, пане Вырва, — быть может, вы не только духовный сын, но и прямой наследник одного из князей святейшей инквизиции? В настоящую минуту вы не чувствуете ли в себе присутствия Торквемады?

— Пан капитан смеется. А я скажу вам, что дух Торквемады господствует теперь над всем миром. Вся Европа видит дурные сны, которые навеяны инквизиционными ужасами древнейших времен. И сны эти хуже самой мрачной действительности. С тех пор, как началась эта проклятая война, я точно чувствую себя укушенным ядовитой ехидной. По утрам, когда я

встаю, я избегаю смотреть на себя в зеркало. Мне стыдно смотреть себе в глаза. Я спрашиваю себя: в какие времена мы живем? Кто мы? — монгольская орда? язычники? варвары? И это называется культурой? Для чего же все исторические, политические и религиозные жертвы? Куда девались все бескорыстные служители идеалов. Где принципы 30-го, 48-го года? Для чего были пролиты потоки лучшей человеческой крови во имя свободы, гуманности и братства? Что же, стало быть, цивилизация, это — только завоевательные наклонности, захват, коварство и взаимное истребление? До чего дошел мир, если от интеллигентных людей ежедневно, ежеминутно слышишь: «О, это культурная нация! Посмотрите, какая у них армия, какой флот!»

Символ современной культурности — скорострельная пушка!

Сотни и тысячи лет стоит мир, сотни лет человечеству проповедуют о боге, о справедливости, о любви, а в результате — пушки, мортиры, пулеметы. Деньги, взятые с нищих и голодных под видом налогов и податей, превращают в чудовищные снаряды для истребеления таких же нищих и таких же голодных, но одетых не в синие, а в серые шинели. Каждому хочется других заставить, принудить, запугать. Для этого люди врываются в чужие города, превра-

щают костелы и училища в конюшни, обрекают на голодное умирание крошечных детей и с утра до ночи сотрясают леса и горы грохотом пушек. А вы пробовали подсчитать, во что обходится миру один день такой канонады? Я подсчитал. И я скажу вам, что денег, растрачиваемых воюющими державами на море и на суше в течение одних только суток, хватило бы на покрытие школами, библиотеками и приютами всей Галиции. Пусть люди перестанут стрелять друг в друга, и деньги, расходуемые на снаряды и пули, превратят в полезные знания, на защиту угнетенных и слабых, — и тогда на земле тотчас же настанут блаженные времена; воцарится тот золотой век, о котором мечтают все религии мира.

И вдруг, уставившись на меня с таким выражением, как будто он обращался ко мне за окончательным разрешением всех сомнений, сменив восторженный тон на будничный и чрезвычайно смиренный, он осторожно бросил:

— Согласны вы со мной, пан капитан?

— Во-первых, я не капитан, а доктор; а во-вторых... во-вторых, почему вы знаете: может быть, мы оттого и воюем с вами, представителями скорострельной культуры, что перед миром вдруг обнаружились с такой мучительной фальшью разрушительные и разлагающие силы милитаризма? — Если вы сами, будучи служи-

телями церкви, уже не верите больше, что людям дано укрепляться духом в страдании, то не значит ли это, что старая вера умерла? Что среди разрушительных элементов старой культуры зреют какие-то новые семена? Что люди предчувствуют нечто новое, во имя которого стоит проливать потоки человеческой крови?..

Я вдруг остановился. Ксендз смотрел на меня злыми ироническими глазами и громко, язвительно, откровенно хохотал мне в лицо. Но тут же, вежливо изогнувшись, он заговорил с прежней страстностью:

— Так вот что означает это избиение младенцев и насилование старух? Насаждение новой культуры! Так! И это вы, русские капитаны и русские полковники, в союзе с русским казачеством несете Германии и Австрии свет истины? Извините, пан доктор! Я знаю: в России есть много благородных и высоко образованных людей. Вы очень талантливы от природы. Но ведь вы еще обретаетесь в зародыше. По сравнению с нами вы — дикари, вы — варвары! Вы не доросли еще до грязной, изношенной обуви на наших ногах. Вы барахтаетесь еще в тине татарского невежества. Я расскажу вам небольшой эпизод. Пусть это останется между нами. С месяц назад у меня остановился проездом один очень известный ваш генерал. Мы разговорились, разоткровенничались. И вот я обратил-

ся к нему с откровенным вопросом: отчего вы не строите школ в России? Отчего не даете вы просвещения вашему умному, крепкому, но такому еще темному народу? Знаете, что он мне ответил? — «И Вавилон, и Греция, и Римская империя, — заявил он с величайшим апломбом, — были счастливы и могущественны лишь до тех пор, пока просвещение не коснулось низов. Дорога к потрясению государственной мощи лежит через народную школу. И доколе мы в силах, мы постараемся уберечь наш народ от ваших европейских бацилл».

Вы понимаете, пан доктор, что я далек от желания уподобить вас этому генералу. Но поверьте, много еще русских ученых, писателей и бунтарей разобьют свои головы о медные лбы ваших Пуришкевичей. Да и что все ваши отрицатели, нигилисты, журналисты, либералы, скептики социалисты по сравнению с этой генеральской твердыней?.. Вся Россия, это — тюрьма. Замкнутая, заколоченная, без света. Где люди сплотились и доросли до силы каменной глыбы, но еще не доросли до понимания простейших человеческих истин.

Когда я слушал рассуждения вашего генерала о судьбах Вавилона и Греции, я — признаюсь вам откровенно — думал: и эти господа сулят нам освобождение Польши! Нет, т а к о г о о с в о б о ж д е н и я нам не надо...

Не спорьте, пан доктор! Вы сами понимаете, что это так. Ведь у себя на родине вы не осмелитесь высказать и половины тех мыслей, которые бродят у вас в голове. Какой ужас — сдавленная мысль; мысль, умерщвленная во чреве. Ведь мысль это все; это — созидающая сила вселенной. Люди в отдельности смотрят врозь; сталкиваются, сшибаются, распинают один другого в муках. А мысль, рожденная в этих распрях, творит и учит мир соединяться воедино в любви и братстве. Человек, одетый в форму русского капитана, приходит в качестве завоевателя к другому, одетому в сутану ксендза, а мысль, просвечивающая в каждой фразе, подсказывает обоим с ясной улыбкой, что они совсем не враги; что, быть может, ближе друг другу, чем люди, связанные кровными узами. Не так ли, пан доктор?

— Вы очень верно судите и чувствуете, пан каноник. Ваши мысли единят вас с лучшими людьми моей родины. Но не старайтесь же затушить основу вопроса. Ведь именно ваша Европа не верит ни этому благородству ни этому великодушию. Она верит только в могущество капитала и пушек. К этой заветной цели она движется твердо и неустанно, пуская в ход бесчестность; коварство, истребительные машины и беспощадную ненависть. И надо же положить конец этому новейшему варварству... Не так ли?..

— О, конечно, пан доктор. Не думайте, что вы видите перед собою наивного поклонника Европы. Я ненавижу немцев не меньше, чем они нас: они не забыли Грунвальда и до сих пор со страхом косятся в нашу сторону. Но я изучаю их язык, потому что это вручает мне ключ к тем знаниям, которыми они владеют. Приобщаясь к их нравам, к их культуре, я овладеваю их собственным оружием. И напрасно вы думаете, что Германию можно победить теми средствами, которыми владеете вы. Вы — только пушечное мясо в этой игре, где Англия играет вашими головами. И если победа останется на вашей стороне, то плодами ее воспользуется только Англия.

Мне даже кажется, что Россия совсем не задумывалась над мыслью, зачем она воюет? Ну, скажем, вы, затратившии миллиарды денег и миллионы жизней, получите, наконец, Галицию. К чему она вам? Мне говорили, что если поехать от австрийской границы до конца ваших владений на Камчатке, то путешествие это будет длиться 48 дней. 48 дней и 48 ночей железнодорожного пути будет тянуться все Россия, Россия. Какое же значение может иметь для вас прирезка Галиции? Это все равно, что второй носовой платок для моего костюма. Нет, вы просто игрушки в руках коварной Англии.

... Отношение жителей резко изменилось: они стали менее разговорчивы и иногда отпускают какие-то загадочные замечания. В прошлое воскресенье ксендз-пробощ обратился к прихожанам с проповедью: о хранении секретов. Я не слыхал этой речи, но, как передавали лазаретные доктора, говорил он с обычным театральным подъемом и в порыве ораторского увлечения сравнил болтливых женщин с убийцами, которые поражают из-за угла доверчивых друзей. Доктора много смеялись над патетическими гиперболами проповедника, хотя тут же добавили:

— Ксендз Якуб Вырва даром не увлекается.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что под секретами он разумел, конечно, не семейные тайны пани Сикорской или похождения панны Компельской со старым Вуйком. Вероятно, им имелись в виду другие «секреты» и другое «предательство». И слушатели отлично понимали, на что намекает ксендз.

Я пробовал расспрашивать жителей, о чем проповедывал им ксендз, но они сурово отмалчивались. Дочь нашей хозяйки на что-то намекала в разговоре с Базуновым. Спрашиваю у нее:

— Что вы рассказывали полковнику об австрияках?

Вздыхает и говорит с сокрушением:

*

— Австрияки тут совсем близко. В Журове уже пули летают. Жители удирают оттуда. А с востока вас обходят мадьяры: хотят отрезать всю вашу здешнюю армию.

— Кто это вам сказал?

— Говорят... Говорят, все ваши обозы и парки скоро уйдут отсюда.

— Кто же может сказать про это и кто это вам сказал?

— Это, пан доктор, секрет. Этого я вам сказать не могу.

— Ну-с, сегодня 17-е, а мира все нет. Будем ждать, что принесет нам 18-е, — полуиронически, полусердито бросает в пространство Базунов.

Я молчу. На душе пасмурно. За дощатой перегородкой, в кузне слышны солдатские разговоры. Молодой, веселый голос:

— Завтра мир будет.

Кто-то угрюмым басом отвечает:

— Дурак скажет!

— Сам дурак, — весело огрызается первый.

— А ну, побожись!.. А ну, побожись!.. Не хочешь? — торжествует пессимист.

У бойкого солдата чешется язык. Он вдруг меланхолически заявляет:

— Что-й-то мне баба не такое пишет.

— Поела вареников и тяжелая стала? — угрюмо иронизирует пессимист.

Минута проходит в молчании. Веселого малого распирает от задора, и он затягивает разухабистую песню:

По улице мостовой
Ходит парень молодой.
С виду парень — тыща тыщ,
Между прочим гол как прыщ.
Носит драповый бурнус
Да на рыбьем на меху-с.
Ветер дует-поддувает
И карманы надувает.
Блещет рыбья чешуя,
А в кармане ни шиша.

У кузни собираются солдаты. Слышатся одобрительные возгласы:

— Ой, елки зеленые, палки дубовые!..

Пример веселого солдата заразителен, и три голоса затягивают хором любимую артиллерийскую:

Выходил приказ такой:
Становиться бабам в строй.
Эй, Тула, пер-вернула
Подходи-ка, баба, к дулу!..
Становитеся, мадам,
Поровняйтесь по рядам.
Эй, Тула, пер-вернула...
Пятки вместе, носки врозь,
Гляди весело, не бось!..
Эй, Тула, пер-вернула...
Бабы-дуры хлопотали,
На поверку опоздали,
Эй, Тула, пер-вернула...

Та, пошла за ездового,
Та за номера второго
Эй, Тула, пер-вернула...
Прицел тридцать, трубка три.
В середину наводи.
Эй, Тула, пер-вернула...
Пушка первая палила —
Баба носом землю взрыла.
Эй, Тула, пер-вернула...
А в орудии втором
Пер-вернулась кверху дном.
Эй, Тула, пер-вернула...
А Матрена, баба-дура
Привязала ногу к шнуру.
Эй, Тула, пер-вернута...
А у тетушки-Малашки
Нет ни пояса, ни шашки...
Эй, Тула, пер-вернула...

К поющим присоединяется несколько новых голосов. Одни и те же куплеты повторяются по многу раз. Гремят кузнечные молотки. Бьют копытами лошади. Звенит в воздухе ядреная ругань. Горланят пушки. Дребезжат проезжающие ящики, обозные телеги, кухни. Срываются с коновязи лошади, приведенные для ковки. Слышится топот солдатских ног и бешеные крики вдогонку:

— Держи, лови!

Ординарцы лениво покачиваются в седлах в ожидании пакетов и сквозь зубы величественно делятся сведениями «из штаба».

— Китай ноне войну объявил.

— Вчера шпеона пымали.

Кто-то торопливо передает на-бегу.

— Их благородию, прапорщику Левицкому, умыться дай!

В воздухе непрерывно слышится:

— Хлеб Переяславскому!

— Гони, ребята, за сеном!

— От Кромского? получай!

Грохот, суета, конское ржанье, скрип, треск разламываемых заборов... Боевой день на биваке в полном разгаре.

Офицеры угрюмо пьют чай. Приехал ординарец из дивизии, говорит: Румыния объявила нам войну. Все немного взволнованы. Евгений Николаевич фрондирует:

— Конечно, эта сволочь пойдет на нас. Я этого всегда ожидал. Я, знаете, жил там, поблизости. Там каждый молдаванин — шпион. И ненавидят нас, подлецы, всей душой. Теперь беда!.. Я все время кричу: на кой чорт нам эта вонючая Галиция? Чего мы сюда лезем? Эти проклятые Карпаты — на кой шут они нам? Нет, прут! Растянули свой фронт! А им, подлецам, только того и надо. Подпустили нас к самому ужасному месту и каждый раз бить нас будут! Нет, пускай о н и здесь сидят, в Галиции. Нам теперь надо бы давно укрепиться

и ждать: берите нас, если можете. А мы лезем, лезем, чорт возьми! Ну, не прав ли я?

И, не дождавшись реплики, Базунов продолжает:

— Теперь что? Соединится эта сволочь румынская с австрийцами, окружит нас со всех сторон, полезут в Бессарабию и дальше. Сколько у нас там войска? Три жалких корпуса. А через неделю Италия войну объявит, Болгария, Швеция. На Петербург полезут, чорт их дери!.. Нам ничего не остается: надо заключить мир с немцами. Ничего не поделаешь: приходится свою шкуру спасать... Завтра же жене напишу: как только Италия войну объявит — в Москву! Кстати в апреле квартирный контракт кончается.

... В окружающей жизни не чувствуется никаких перемен. Все так же скрипят обозы, все так же постреливают мортиры и пушки. Снуют ординарцы. Лениво плетутся фуражиры с сеном. Только на лицах крестьян читается скрытая насмешка, и нет в поклонах прежней учтивости. Или это нам только кажется?

От скуки едем кататься. Бугристые снежные поля. Овальные уступы, вздувшиеся как огромные, белые пузыри. На молочно-белом снегу резко чернеют щетинистые леса. Свернули с дороги на целину. Освещенные потоками солн-

ца волнистые дали горят миллиардами серебряных искр. Ветер обжигает лицо.

Сани мчатся. Сильные, рослые лошади крепко бьют по скрипучему снегу. Солдат-ямщик молодецки гикает. Обгоняем обозные возы, ординарцев, лазаретную линейку. Сани быстро скользят по крутому спуску, взбегают вверх по холмам, и мы в гостях у лазаретных врачей.

ПОД ТАРНОВОМ

ФЕВРАЛЬ, 1915 г.

— Извините за выражение, дозвольте вас спросить — вы же юрист, господин доктор, вы же в газетах пишете — по причине каких препятствий брошены мы без полного предписания на счет распоряжения касательно срочной командировки?

Так фельдшер Тарасенко, со свойственной ему витиеватой изысканностью, выражает свое недоумение по поводу нераспорядительности дивизионного врача. Третий день мы находимся при штабе дивизии, двадцать раз обошли все канцелярские столы, но нигде не можем добиться, для чего нас сорвали с места. Отсылают к дивизионному врачу, который находится в безвестной отлучке.

— Вы бы, Тарасенко, узнали у писарей, куда он девался.

— Узнавал.

— Ну и что?

— Извините за выражение, как говорится, чорт его знает, где он есть. Толкуют, в командировке.

Живем «на съезжей», как называют офицеры просторную избу, в которой скопилось человек десять таких же неудачников, как мы. Из обозов, из полков, из бригад. Все дожидаются назначения. «На съезжей» грязно, накурено и шумно. В одних рубахах, засучив рукава, за длинным столом офицеры режутся в карты. Банкомет — пехотный полковник с лисьей мордочкой. Тут же сестра милосердия, полная, круглая, румяная — «свеже покрашенная», как говорят о ней офицеры. Она разыскивает пропавшего мужа. Ночует она у хозяйки за перегородкой и несет обязанности офицерской экономки «на съезжей». Два молоденьких подпоручика, давно проигравшиеся в пух и прах, уныло потренькивают на балалайке и, не считаясь с сестрой, угощают друг друга похабными прибаутками.

— Господа офицеры! Складывайте ваше оружие, кушать будем, — громко приглашает сестра.

На стол подается дымящаяся кастрюля. Откуда-то появляются графинчики и стопки. Офицеры крякают, потирают руки и весело чокаются.

— А вы, сестрица? — лукаво подмигивает полковник с лисьим лицом.

— Не пью.

— Воспрещено по болезни?

— Сроду не знала я болезней и теперь не знаю, какие-такие болезни бывают, — не смущается сестра.

За обедом она чувствует себя царицей собрания, хохочет, кокетничает и тараторит. Язык ее работает с расторопностью пулемета, и речь ее отливает всеми цветами патриотической радуги.

— Ах, в последнее время, — говорит она, презрительно поджимая губы, — я совсем потеряла веру в немцев. Их пушки, их машины — все это чепуха. Нашлепают их, нашлепают — и они со всеми своими пушками удирают. Вот русские наши — каждый герой!

— А по-моему, — басит усатый штабс-капитан, — по-моему немцы молодцы! Идут густыми строями, но молодцы!

— Великая штука, — презрительно парирует сестра, — пьяные! От каждого немца воняет эфиром. Хлороформ их совсем не берет.

Офицеры смеются.

— Да, да! — горячится сестра. — Вот у нас одному эсаулу операцию делали — ампутацию. Дали ему хлороформа, заставили считать: не засыпает. Наконец замолчал. Доктор говорит басом: — Не желаю вам такого мужа, сестра. Пьяница горчайший. А тот вдруг: — Слышу, все слышу.

— Эсаул русский? — спрашивает полковник.

— Ну, да! Эсаул казачий.

— Значит, и наши пьют?—смеется полковник.

— Ну, так немцы от трусости пьют.

— От трусости? Я этого не думаю.

— Да, это верно положим, — сразу сдается сестра и горячо продолжает: — знаете, сколько я работаю в госпитале, с начала войны работаю, а пленных я не видала немцев. Раненых, тяжело раненых — видела. А пленных — ни одного! Вообще, немцы молодцы! Немцы, мадьяры. Мадьяры — на перевязках — вот выносливые! Евреи — всегда евреи. Польские, русские, итальянские евреи — начнешь ему иодом смазывать пустячную рану, а он — вай-вай-вай... Мадьяр зубы стиснет — ни слова не вымолвит... Выносливые мадьяры и немцы — в плен не сдаются. В каких местах была — под Опочно: там ведь все немцы. Пленных вот не было! Не было. Сколько я работаю...

— Значит, и за-границей не все дураки да трусы, — иронически замечает широкоплечий артиллерист.

— Удивительно, как за-границей хорошо — тьфу! Ну, пускай разорили города. А станции— какая же это мерзость! Вы только взгляните. Так все чуждо, так отвратительно.

— Один есть бог, и Магомет пророк его на земле, — хохочет артиллерист.

— А что же, это не так? — обиженно спрашивает сестра. — У немцев все раздуто, все рек-

ламно. Тарнов, например, что это за город? Все старьем пахнет, вонь. А так называемые бани здешние — суньтесь. А вагоны? Фу! Какая-то мерзость. А концы-то какие? Шесть часов едешь и уже! приехали. А хвастовства-то!.. На целый месяц. Вот наш сибирский экспресс — это красота! Едешь, как в салоне. Даже в Бродах красиво — потому что это русское! А Львов? Русские все хвастают: мы Львов забрали! Приехала я во Львов — наш Житомир в десять раз лучше! Вот уж как у нас говорят — хочь гирше, абы инше... Все раздуто, рекламно. Из-под палки все делают, по приказу! А такой культуры, чтобы сама природа делала — нету! И не будет у немцев!

— Пустяки комбинация! — задорно смеется артиллерист. — Да вы, сестрица, кушайте, не огорчайтесь. Ведь зато во Львове и в Тарнове сестричек сколько! И какие хорошенькие!

— А вы в Тарнове бывали? — оживляется сестра. — Я часто в Тарнове ходила. Видели меня, вероятно? Я всегда в беленьком. Гуляла. От полноты. Я страшно пополнела. Вот представьте — что такое? Все на войне пополнели. Я двадцать семь фунтов на войне прибавила.

— Мне кажется, что женщины далеко не так мягкосердечны, как думают, — говорит похожий на лисицу полковник. — Вы слышали такие стоны, присутствовали при таких операциях.

Ваше сердце должно было разорваться. А вы двадцать семь фунтов прибавили.

— Это вы правду говорите, полковник, — грустно вздыхает сестра. — Как сестра, я должна сказать, что у нас много самозванок. Да, да. Гуляют по Тарнову днем и ночью.

— В беленьком? — вставляет один из проигравшихся подпоручиков.

— А вы раненых не боитесь? — насмешливо пристает к ней артиллерист.

— Раз не выдержала — расплакалась. А доктор как закричит: сестра! Один обморок — и вас здесь не будет! Что вы делаете? Как больной на вас смотреть будет! С тех пор, как издали раненого увижу — сейчас смеюсь.

— Для разнообразия хорошо и однообразие, смеется артиллерист.

— А в обморок не падаете? — спрашивает подпоручик.

— Ни-ког-да! Раз даже доктор сомлел. Я хлоформировала. Дорога каждая минута. А он валяется на полу.

— Ну и что ж?

— Я его из кувшина водой облила.

— Пустяки комбинация, — хохочет артиллерист. — Да, я слышал: первый раненый, как первая любовь. А потом привыкнешь.

— А вы видали раненых? — обращается сестра к артиллеристу.

— Ну, а как же, — улыбается он.

— Страшно?

— Да, страшно. Самое ужасное: близкий разрыв троттиловой. Я видал одного австрийца: нос остался, губы остались, но все почернели. Кожа в страшных кровоподтеках.

— А правда это, что только пулеметы страшны? — любопытствует сестра.

— Двенадцатидюймовые тоже хорошая штука... А вы, сестра, храбрая?

— Я — страшно храбрая. Ничего не боюсь. Под Хенцанами наш поезд несколько раз обстреливали. Но, когда вчера услыхала 16-дюймовую — господи, твоя воля! Вот страшно стало. Шла я к вокзалу. Вдруг снаряд за снарядом. Моментально все стекла вылетели... Ни за что не могла бы остаться в Тарнове.

— А вы где служите?

— В Львове.

— Ваш муж прапорщик? — ядовито осведомляется полковник.

— Извините пожалуйста, прапорщик, — в тон ему отвечает сестра.

— Вы такая патриотка, я думал, что ваш муж из настоящих военных.

— А ведь война-то на прапорщиках держится, полковник. А полковники-то в штабах в картишки дуются.

— Ха-ха-ха! Пустяки комбинация! — гремит артиллерист.

— Я вам больше скажу, — неожиданно вмешивается пехотный поручик, — кабы прапорщики в штабах сидели — больше порядка было бы. В Горбатовце, под Саном — сплошное кладбище. Там в окоп сваливали трупы. Только поперек положат и засыплют. Весной там такие запахи пойдут... В Адамовке, рядом, была холера. По пятнадцать человек в день умирало. Пишет наш полковой врач дивизионному: позвольте перенести лазаретный пункт в другое место. А ему в ответ: залейте избы известкой. Понимаете? Адамовку эту день и ночь кроют шрапнелью всех сортов. Там дышать нечем. А начальство советует: известкой залейте. Да бумажки присылает: не пейте сырой воды! Не сидите на голой земле! Что скажете? Воду-то эту берут из канавы, где гниют и наши и австрийские трупы. Поди-ка, вскипяти ее под огнем.

— А у вас нет Георгия? — неожиданно обращается к рассказчику сестра.

— У меня? За что мне Георгия? — обрывает он ее. — Что я, штабной или интендант? или сестра милосердия? Вот у нас корпусному интенданту пожаловали Анну с мечами — за переправу скота через Вислу. А в 25-м корпусе — Владимира с мечами и с бантом — за своевременную доставку икры из Петрограда в Штаб корпуса.

— Пустяки комбинация! — весело смеется артиллерист.

— А вы какой офицер — кадровый или из запаса? — сухо и строго обращается к поручику полковник.

— Ка-адровый! И отец мой военный. Умер 69 лет, а службы было у него одним годом больше.

— Как это? — изумляется сестра.

— Он в севастопольской кампании участвовал, в турецкой, за усмирение польского мятежа — вот и набралось.

Полковник демонстративно зевает.

В комнату входит ординарец из штаба с кипой приказов и передает их полковнику. Тот, отобрав одну из бумажек, оглашает: для всеобщего сведения. И читает медленным, внятным голосом, смакуя каждое слово:

«Телеграмма начальнику
штаба 25-го корпуса.

«В виду развившегося шпионажа евреев и немецких колонистов и пришельцев, командующий армией приказал: 1) ни тех ни других, кроме особо надежных поставщиков, к войскам не допускать; при встречах на пути принимать меры к тому, чтобы эти лица не могли просчитывать количество войск и обозов или узнать название частей. При попытках же сопротивления или к побегу действовать без про-

медления оружием решительно. 2) Вблизи расположения войск воспретить жителям зажигание огней в сторону неприятеля, разведение костров, звон колоколов, вывешивание флагов, взлезание на колокольни, крыши, деревья, а без особого разрешения также выезд и выход из городов и селений. 3) С неповинующимися указанным требованиям поступать по силе законов военного времени. Люблин № 1545. Гулевич».

— Браво, браво! — первая воскликнула сестра. — Пора положить конец жидовскому шпионажу.

— Правильно! — откликнулось несколько голосов. — Пойманного жида — на месте! Чего с ним канителиться.

— Есть такие еврейчики, что в нашу пользу шпионят, — вставляет полковник.

— Откуда вы знаете? — спрашивает сестра.

— А как же! Я перед самой войной служил в пограничных войсках в Бродах. Там жиды на самой границе траву такую сеяли и за границу на продажу возили. Только давно настало время сено косить и убирать, а мои хаимы и в ус себе не дуют. Я ведь их всех — во как знаю! Спрашиваю: ты чего сено не собираешь? Ведь пропадет. А он посмеивается:

« — Зачем мне теперь сено, когда я на службе?

« — На какой службе?

« — На такой же как вы. На государственной службе. Я теперь такой же военный, как вы.

« — Ну, это ты, положим, врешь».

— А он, понимаете, вытаскивает удостоверение, что такому-то Хаиму Мовшовичу предоставляется свободный пропуск в районе военных действий.

— Ну, скажите! — возмущается сестра. — У меня муж на войне, я сестра милосердия, прошу свидания с мужем — нельзя. А жидам можно...

Я отхожу в сторону и перелистываю другие приказы. В списке убитых читаю знакомую фамилию: прапорщик Кромского полка Антон Петрович Васильев. Память остро подсказывает: нервная, хрупкая фигурка, большие усталые глаза, звонкий, срывающийся голос:

— Я к вам по делу, доктор... Пишу, знаете, стихи. Ни печатать их негде ни читать некому. А я, быть может, скоро помру. Вот возьмите на память. Авось когда-нибудь прочитают, когда меня уж в живых не будет...

Помню, стихи поразили меня своей скрытой взрывчатой силой. Я сохранил их.

В ПОХОД.

Прощай, жена! Не так бывало
Твои глаза я целовал,
Когда клонилась ты устало,
И первый сон нас разлучал.
А здесь... Да ты ль, голубка, полно,

Стоишь у поезда, — бледна
И безнадежна, и безмолвна,
Близка... И так отчуждена?..
Мы — те же, любим, как любили.
Так чьей же силой решено,
Чтоб мы друг друга схоронили?..
Ну, с богом... Грозно и темно
Глядит мой путь... за ним забвенье.
Не будет жизни там былой!..
Борясь со страхом, в озлобленьи
Припав к брустверу головой,
Я тупо ждать приказа буду...
Мне ласк твоих не вспомнить там...
Прощай, живи и... верь, как чуду,
Что может быть свиданье нам.
А там, вдали — в чужой траншее
Не те же ль слезы и мечты?..
Так для чего ж мы клоним шеи
И тупо гибнем, как скоты?

... Готово. Едем.

Первым примчался Коновалов.

— Доктор Прево приехал.

Прихожу к дивизионному врачу. Изящный мужчина, с приятным лицом и вьющейся шевелюрой. Любезно осведомился:

— Чем могу служить?

Показываю предписание. Доктор явно смущен и не знает, как выйти из неловкого положения.

— Может быть, для осмотра нестроевых частей, — подсказываю я ему.

— Да, да. Раз вы приехали, то осмотрите хлебопекарни. Там, кажется, много больных. Я прикажу приготовить вам маршрут и предписание.

— А средства передвижения?

— Гм!.. Доберетесь как-нибудь до ближайшего парка.

— Второй парк стоит в Тарнове, а другие еще дальше.

— Как - нибудь доберетесь. На обывательских, что ли?

— Слушаю-с.

Пешком добрались до Тукова. Сунулись туда — сюда. Ни одной подводы. Только к вечеру попались нам навстречу широкие русские сани, запряженные парой.

— Кто такой?

— Возчик Владимирской губернии. Сполнял грузовую повинность. Четвертый месяц в отлучке. Снаряды возил на позицию.

Кое-как уломали за три рубля довести до Тарнова. Решающим доводом оказалась бутылка спирту.

— Ох, ты чудак! Ты бы давно сказал, — обрадовался возчик.

Заворотили коней и поехали.

Дорога идет бесконечным сосновым бором. Лунная морозная ночь. Сани быстро скользят по узкой лесной дорожке. Сосны высокие и пря-

мые шагают навстречу саням, как солдаты. Щетинится хвоя, посыпанная серебристым снегом, стряхивает холодные пушинки, от которых неожиданно просыпаешься, смотришь с изумлением кругом: да разве я спал? Полки щетинистых солдат все идут и идут, и ямщик засыпающим голосом все так же покрикивает: — Эй, Вася!.. Тпру!.. — Что такое? Неужели приехали? Как скоро.

— Ваше благородие! Да вже восьмой час, — смеется Коновалов. — Как раз к чаю поспели.

Вторые сутки я, как Чичиков, странствую по Галиции и знакомлюсь с хлебопекарнями нашей дивизии. Заведующие хлебопекарнями—это сплошь какие-то допотопные гоголевские фигуры. От хлебопекарни до хлебопекарни верст сорок. Уже за много верст от хлебопекарни бросаются в глаза огромные столбы густого, черного дыма. Подъезжаем ближе. Какие-то странные шатры, напоминающие ханскую ставку. Сквозь клубы дыма бьет жаркое пламя. Выходит верный хранитель этого пламени, заведывающий хлебопекарней № 630 — огромный детина, без фуражки в больших сапогах раструбами и басом осведомляется:

— Что надо?

Я объясняю. Прошу созвать команду. Меня ведут в канцелярию, куда понемногу сходятся

мохнатые распоясанные бородачи в сорочках с засученными рукавами. Все предусмотрительно прячут руки за спиной: у них достаточно оснований бояться держать их на виду.

— Руки моете?

— А как же.

— Сколько раз на день?

— Как водится: встамши.

— Мыло есть?

— Вышло.

— Отчего ногтей не стрижете? По фунту под ними грязи. В баню ходите?

— А где ж баня-то?

— До ветру впору сходить — не поспеешь. С утра, как прокинулся, как почнешь месить, так до поздней зари спины не расправишь. В поту, как в купели, купаешься.

— Скиньте рубахи.

— И скидывать не для ча. Истлели рубашки-то, как труха, сыплются.

У большинства тело в чирьях. Масса чесоточных, с экземами. Есть сифилитики. Процентов десять больных тяжелой чахоткой. И все густо покрыты огромными вшами, которые лениво переползают с места на место, вызывая свирепый зуд.

Докладываю заведывающему: ваша хлебопекарня в санитарном отношении — преступное гнездо; ваши люди больны всевозможными болез-

нями; разве можно такими занавоженными руками хлеб месить?

Заведующий смотрит на меня с изумлением и с состраданием пожимает плечами:

— А кто ж мне даст здоровых людей? Здоровые на фронте нужны.

— Больных надо лечить, а не отправлять в хлебопеки. Они заразу разносят. Вы в хлеб вшей запекаете, мокроту чахоточную, сифилитический пот. А какими руками вы месите хлеб? Да и руками ли только?

— А хоть бы ногами, так что? — вызывающе бросает заведующий. — Ведь мы не сырой хлеб выпускаем; а на нашем огне всякие бациллы сгорают.

— Вас за такую хлебопекарню под суд отдать надо.

— Вы из запаса, доктор? Вот то-то и оно. А я старый гусар. Давайте-ка лучше чайку напьемся. А тем временем нам закусочку изготовят. Повар у меня знаменитый — в вашем вкусе: и ногти стрижены и с колпаком. Я сам наблюдаю. Я, батенька, старый гродненский...

Спустя два часа гродненский гусар сидел верхом на скамье и, громко икая, орал осипшим басом:

— Эх, голуба моя! Гусаром не были, цуканья не пробовали — вот что. Ну что такое вошка печеная? Пустячок. А вот лягушку живьем

попробуйте проглотить. А у нас в Елисаветградском училище прямо жилы из нас тянули. Как начнут, бывало, «цукать»! Я вам все по порядку расскажу.

— В другой раз, ротмистр, сегодня я тороплюсь...

— Э, нет, голуба моя, я вам все по порядку. Было у нас 4 роты в училище. Первую звали жеребцами, вторую — стервами, третью — шлюхами, а четвертую — гнидами. Все у жеребцов по струнке ходили. Дань платили им деньгами, котлетами, работой. Ослушников подвергали «цуканью». Тесно сдвигались все кровати: между ними один продольный проход и несколько узких боковых. В конце прохода ставился «трон». По бокам прохода музыканты с трубами, барабанами, гребешками, свистульками. За музыкантами — жеребцы. По сигналу музыканты жарили туш, а подсудимый шагом направлялся вдоль строя, между двумя шеренгами жеребцов к трону. От каждого жеребца подсудимый получал «закуску». Дойдя до трона, он кланялся жеребцам и садился. Моментально два жеребца задирали ему ноги, а двое других наносили пряжками положенное число ударов.

Ротмистр с увлечением описывает все бесконечные подробности «цуканья» — с кругосветным плаванием под кроватями, с избиением в проходах, с сеансами банными, ночными и спирити-

ческими, кончавшимися глотанием живой лягушки. С трудом вырываюсь на свободу от словоохотливого ротмистра.

Тает. Лошади, мотая головой и похрапывая, хлюпают по талому снегу. Высоко над головой плавно реет биплан, вокруг которого мягко лопается шрапнель, расплываясь пушистыми дымками. Тяжело плывут навстречу артиллерийские обозы, нагруженные патронными ящиками. Бабы на сиротливых кляченках испуганно шарахаются в сторону.

На душе легко и спокойно.

Лишь изредка, когда ветер доносит близкое стрекотание пулемета, или взвизгивающая пуля проколет воздух, сердце на мгновенье вздрагивает, оцарапанное страхом.

И опять все просто и ясно. Едем, дышим и радуемся. Вдруг дорога раскалывается. Лошади бегут по крутому спуску в лесистую ложбину. Зигзагами вьется лесная дорожка среди седых и молчаливых елей. Вытянулись мохнатые руки, и сквозь колючие пальцы струится легкая жуть. Кто знает, чьи зоркие глаза наблюдают за нами из запушенной сумрачной мглы? А впрочем, не все ли равно, откуда ударит пуля.

— От-то кроют! Как вальком колотят! — говорит Коновалов.

И голос денщика, спокойный и веский, возвращает меня к трезвой действительности.

— Хар-рашо! — вздыхает полной грудью Коновалов.

— Еще бы! Это тебе не тыл, где все тайком да на цыпочках. Тут, брат, вся душа нараспашку. Убивай, сколько хочешь! Пали! Руби! Гори душа радугой! Вот только начальство дурацкое... Не сковырнуть ли его к чорту?.. А?..

Жду и прислушиваюсь, что скажут Коновалов и Дрыга. Но крепко сжаты солдатские губы, и ключ к солдатским мыслям заброшен в глубину безмолвного бора.

Вечереет. Лениво тащутся лошади в гору, выбираясь из лесного оврага. Молчат пушки. Молчит небо. Молчит земля, как терновым венцом, оплетенная колючей проволокой. Молчат Коновалов и Дрыга, и треплются склоненные головы в папахах, точно решают какую-то трудную задачу.

Стемнело. Холодный ветер лизнул размякшую дорогу. Громко зацокали копыта, далеко разбрасывая тяжелые искры. Торопливо забегали тени. Вдруг огненный пояс опалил безмолвие ночи и исчез, наполнив сердце страшною вестью: сейчас ударит. Куда?.. Загремели тысячи взорванных мостов, загрохотали сотни гигантских камней — ахнула 16-дюймовая «берта». Лошади шарахнулись в сторону и понеслись без оглядки.

— Тпр-ру! Нечистая сила!

— От-то сила! — в благоговейном восторге воскликнул Коновалов.

Дрыга презрительно цыкнул сквозь зубы.

— Какая там, к чорту, сила? Морозу — вот кому сила богом дадена! Дыхнул — и всю землю скрозь в камень сковало.

— А может немец такое выдумает, что и морозу твово не станет, — сонно бормочет Коновалов и начинает сладко храпеть.

Дрыга, лениво цыкнув, резонерски бросает в пространство:

— Не толкуй обо ржи, а карман шире держи.

— Это к чему же, Дрыга?

— Да так... Всему свое время... И войне и начальству... Эх-эх... Н-ну! С-волочь паршивая. Возжу под хвост тянет...

И огретые неожиданно кнутом лошади рванули и понесли в холодную даль.

За утренним чаем ко мне обратился Джапаридзе.

— Вы даете какие-нибудь поручения канониру Павлову, который едет сегодня в Киев?

— Да.

— И письма с ним посылаете?

— И письма посылаю.

— Заберите ваши письма: он в Киев сегодня не поедет,—многозначительно подчеркнул Джапаридзе.

— А что случилось?—

— Скоро узнаете. Сегодня будет день больших неожиданностей. Между тем Павлов продолжал энергично собираться. Побывал у всех офицеров, получил заказы от заведующего собранием, заклеил все письма в один пакет. Когда Павлов сидел уже на возу, Джапаридзе позвал его к себе и спросил:

— У тебя есть какие-нибудь деньги?

— Сто рублей — офицерских и своих двадцать пять.

— А больше нет?

— Никак нет, — ответил тот.

— Разденься! — приказал ему Джапаридзе и, обращаясь к фельдфебелю Удовиченко и Гридину, распорядился:

— Обыщите его.

Под двумя теплыми фуфайками, в тельной рубашке нашли зашитыми 900 рублей.

Павлов — бывший фуражир, недавно отставленный. Дня три назад он принес письмо с известием о смерти жены и стал проситься домой.

— Откуда у тебя деньги? — спрашивал Джапаридзе.

Павлов молчал.

— Позовите сюда Новикова, Горелова, Полякова и Фетисова, — приказал Джапаридзе.

Приведенных (все фуражиры) немедленно обыскали и нашли: у Новикова — 1122 р., у Горелова — 570 р., у Полякова — 590 р. Фетисова, считавшегося самым честным фуражиром и заведывавшего покупкой скота, на месте не оказалось. Он пришел через полчаса и принес счет на покупку коровы. — Был он бледен и очень смущен. Джапаридзе резко обратился к нему:

— У тебя есть свои деньги?

— Так точно, рублей 50.

— Покажи.

Он протянул кошелек, в котором оказалось 190 р. казенных денег и две двадцатипятирублевки.

— Тебя предупредили? — спросил Джапаридзе.

— Никак нет!

— Врешь! Раздевайся!

При обыске в карманах нашли несколько расписок на проданный скот.

— Что за расписки? Признавайся! — закричал Джапаридзе. — Я тебе верил, считал тебя честным солдатом. Докажи хоть теперь, что ты лучше других. Говори правду.

— Это, ваше высокородие, записки ненужные. Их хучь спалить можно.

— Зачем же они у тебя?

— Упомнил порвать.

— Говори правду! — кричал Джапаридзе.— Я ничего не понимаю. Я должен под суд тебя отдать за подлог и мошенничество. Что за расписки? Ты что-нибудь понимаешь? — обратился он к Гридину.

Гридин (бывший жандарм) сладко протянул:

— Так точно. Отлично понимаю. Он, ваше высокородие, брал расписку от пана, у которого корову купил, правильную расписку, за сколько купил — скажем за 30 рублей, а потом шел к другому пану, и тот, другой мужичок за двугривенный давал ему другую расписку, неправильную, подложную не на 30, а на 40 р. Вот и барышей десятка.

— Так это было, Фетисов? Гридин правильно говорит?

— Так точно. Правильно.

— Сколько же ты приписывал к каждому счету?

— Когда рубль, когда два.

— Почему ж у тебя так мало денег? Значит, у тебя своих не 50 рублей, а больше.

— Никак нет. 50 рублей только.

Фетисов стоит красный, с опущенной головой. Офицерам, присутствовавшим при этой сцене, было совестно и неловко, но жалости к пойманным фуражирам не было. Все превосходно по-

нимали, какие жестокости, какие солдатские расправы над бедными жителями скрывались за этими награбленными деньгами.

— Господа офицеры, — обратился к присутствующим Джапаридзе, когда ушли фуражиры,— я не нахожу выхода. Простить? Тогда фуражиры попрежнему будут грабить и воровать в надежде на снисходительность начальства. Предать суду? Это — расстрел или каторга.

Наступило тяжелое молчание.

— Давайте судить их собственным судом, — предложил доктор Костров.

— Что ж, это можно, — неопределенно протянул Базунов.

— Хар-рашо! Сегодня вечером суд! — отчеканил своим гортанным голосом Джапаридзе. И обратился к Гридину: — Созвать офицеров из всех трех парков.

Вечером собрались все офицеры. Было душно, накурено; всем хотелось поскорее отделаться от этой тяжелой процедуры. Фуражиров не было, суд начался заглазно. Первым заговорил вновь назначенный командир второго парка капитан Старосельский. Невысокого роста, плотный, широкоплечий, с бритой головой, небольшими зелеными глазами под тяжелыми веками, он говорил веско, холодновато и скупо:

— Надо отобрать деньги. Это прежде всего. Пока не докажут, что деньги не награблены, а собственные. Набить хорошенько морду, — и конец. Под суд отдавать не следует.

— Под суд не следует, но и бить не надо, по-моему, — заявил доктор Костров.

Старосельский заволновался:

— В мирное время я ни разу солдата не ударил. А теперь иначе нельзя.

— Это гадость, — вставил Костров.

— Да, это гадость, это уродливо — бить солдата. А вся война не уродство? У меня теперь твердая система. Во время боя хороший тумак по голове, это лучший способ спасти человека от обалдения. А мародерство? Я не знаю другого лекарства от мародерства, как крепкий стэк. Не предавать же суду солдата за каждого уворованного курчонка. Огрейте его хорошенько хлыстом — и он сразу проникнется уважением к чужой собственности.

— Надо позвать фуражиров и добиться от них признания, — предложил адъютант Медлявский, — тогда судить будет легче.

Вошли фуражиры. Первым выступил Новиков, взводный 3-го взвода, у которого нашли 1 122 руб. Умный, кряжистый мужик, Курской губернии, Льговского уезда. По занятию прасол, торгует птицей и яйцами. Имеет капитал в банке (тысяч пять, — говорит). Обороти-

стый, ловкий и решительный. Я видел его в трудные минуты: взвод повиновался ему беспрекословно.

— Признавайся! — обратился к нему Джапаридзе. — Все равно будет произведено следствие у тебя на деревне.

— Что ж, я не отказываюсь. Деньги мои, не казенные. Только об них никто не знает в семействе: ни брат, ни отец, ни жена. А случилось это вот как. Была у меня кобыла, хорошая лошадь, как жену любил. Продал я ее, как на войну уходил. А сколько взял, утаил. Деньги с собою взял, чтобы после войны лошадей закупить и продать с барышами в России. Вот откель деньги мои.

— В последний раз говорю тебе: повинись! Признаешься, деньги отдашь, не отдам под суд. А будешь врать про кобылу, пропадешь, как собака!

Новиков побледнел, задумался и, махнув рукой, объявил:

— Хучь жалко денег — свои ведь, кровные — да что делать? Вы нам как отец родной. Как знаете — пожалейте: не предавайте суду.

С другими пошло легче. Они отдавали деньги, кряхтя и смущаясь, и больше для видимости прибавляли:

— На войне делить нечего: все казенное.
— Только бы душу сберечь.

*

Один Фетисов не сдавался:

— Больше 50 рублей не имею.

Но, когда сверили с найденными при обыске расписками, оказалось, что к каждому счету он по 5 рублей приписывал. Подсчитали: рублей 400 должен иметь. Джапаридзе выходил из себя:

— Я тебя в карцере сгною. Все равно денег не получишь. Прямо отсюда прикажу увести и запереть.

Наконец сознался: дал деньги на хранение ездовому Миронову, а тот схоронил их в седле— между ленчиком и подушкой.

Едва удалились фуражиры, как началась жестокая перебранка. Большинство офицеров требовало:

— Деньги зачислить за командой — на улучшение довольствия, а фуражирам морду набить.

— Кто же бить будет? — спросил адъютант.

— Как кто? Офицеры, — ответил Старосельский.

— Этого не будет, — крикнул Костров и, стуча кулаком по столу, бросал задыхающимся голосом:

— Вся армия занимается грабежом! И больше всех офицеры! Из Тухова штабные офицеры все люстры вывезли, серебро, зеркала, посуду, картины!.. Капитан Кравков пять экипажей домой отправил. Полковник Скалон

два автомобиля к себе в имение отослал. Мебель, рояли, лошади — все разворовано у населения!..

Свирепо размахивая кулаками, Старосельский наседал на Кострова:

За это по морде бьют... под суд... оскорбление мундира...

— Капитан Старосельский, — холодно заговорил Базунов, — обращаю ваше внимание, что у нас в бригаде врачи пользуются такими же правами, как офицеры. Они принимают участие в суде и имеют право высказывать свое мнение, Дело собрания принять то или иное решение.

— Слушаю-с, полковник, и принимаю к сведению, — протянул обиженным голосом Старосельский и, щелкнув каблуками, вытянулся в струнку.

Часа через два, после ужина в собрании. царило дружное «винопийство». Хохотали, шутили, играли в карты. Костров с Старосельским, как ни в чем не бывало, резались в девятку. Из-за стола их ежеминутно долетали шумные выкрики Кострова:

— Ах, елки зеленые! Уконтропил!

Выигрывая, Старосельский аккуратно запихивал бумажки в большой кошелек на цепочке у пояса.

*

Ночлег Старосельскому отвели у меня. Уже лежа в постели и загасив свечу, он обратился ко мне:

— Вы очень дружны с Базуновым?

— Да, я считаю его очень интересным человеком.

— Смотрите, не очень с ним откровенничайте. А то...

— Что такое?

— Ведь он... в дворцовой охране служит.

— Что это за дворцовая охрана?

— Не знаете? Особая жандармерия, которая следит за настроением офицеров. Раньше во главе ее стоял великий князь Сергей Михайлович, а теперь — барон Фредерикс.

— Откуда вы знаете про Базунова?

— Посмотрите его послужной список. Больше трех лет он нигде не служил. Бросают его и в Сибирь, и на Урал, и в Воронеж. Для наблюдения назначают.

Разбудил нас радостный крик Кострова:

— А что! Читали новый приказ главнокомандующего? Недурственно. Не в бровь, а в глаз вам, Иннокентий Михайлович. Не угодно ли почитать?

— Читайте, а мы послушаем.

Захлебываясь, прищелкивая и пересыпая приказ сочувственными восклицаниями, доктор Костров читал:

«Секретно. Копия с копии на имя начальника штаба главнокомандующего армиями юго-западного фронта генерала от инфантерии Алексеева.

18 января 1915 г. г. Кыров. Ваше высокопревосходительство, глубокоуважаемый Михаил Васильевич!

Долг офицера и порядочного человека, для которого дороги честь и доброе имя русской армии, повелевает мне написать вам это письмо и сообщить вам о весьма печальном явлении в нашей армии. Не совсем корректное отношение некоторых офицеров к чужой собственности мне приходилось иногда наблюдать, и я боролся с этим по мере сил. Теперь до меня дошли совершенно определенные слухи о том, что офицеры посылают много награбленных вещей в Россию, своим семьям. Посылаются экипажи, сервизы, даже ценная мебель. Какой позор, какая гадость! Все это идет через Львов и, вероятно, пересылается под видом казенных грузов. Можно это все сразу пресечь, установив досмотр грузов, направленных в Россию, да, вероятно, можно установить, что и куда было вывезено, особенно такие вещи, как экипажи. Писать об этом официально я не считаю возмож-

ным, почему и обращаюсь к вам с этим частным письмом, будучи уверен, что вы поймете и мое возмущение этими недостойными поступками некоторых офицеров, бросающих тень на всю армию. Не думаю, что я мог ошибаться, так как получил сведения из нескольких совершенно различных источников. Прошу извинить меня за беспокойство и верить, что любовь к нашей армии и обида за нее заставили меня прибегнуть к этой мере.

Искренно и глубоко уважающий вас и расположенный к вам А. Хвостов».

«Копия секретного сношения начальника штаба III армии от 12 февраля 1915 г. за № 32817.

«Командиру 21-го армейского корпуса.

«Препровождая копию письма на имя начальника штаба главнокомандующего армией юго-западного фронта, уведомляю, что командующий армией полагает, что в 3-й армии случаев, подобных изложенному в письме, не было, но его высокопревосходительство считает необходимым поставить о сем в известность всех начальствующих лиц для предотвращения возможности подобных случаев в будущем.

«С копией верно: Старший адъютант управления инспектора артиллерии XXI армейского корпуса капитан Карпов».

— Каков приказик-то! Ась? — радостно захлебывается Костров. — Нут-ка, Иннокентий

Михайлович, шуганите-ка генерала Алексеева; под суд... оскорбление мундира!.. Ох-хо-хо, палки зеленые, елки дубовые! Недурственно, ась?..

— А все-таки вашим фуражирам сегодня морду наклепаем! — жестко усмехается Старосельский.

... Прививаю оспу солдатам. Возле меня кучка бородачей. Один, усмехаясь, тянет:

— Видать, и об нас господь печется: какого начальника послал.

— Это об ком вы?

— Известно о ком: об командире об новом — из второго парка который.

— Не по душе пришелся?

— Ух-у! Лицом темный, глаз вострый...

— С батареи ребята сказывали: драться лютый. Жалости ни к чему не имеет.

— Бьет без обману, — насмешливо долетает со стороны. — Уж как тебе лютовал сегодня над фуражирами... Отстрадались!

— Разве их били?

— Ну, как же! Всю команду построили — глядеть...

— Их благородие, капитан Джапаридзе, — поясняет кто-то, — раз-два по морде Фетисова хлеснули — и будет. А энтот... всех наградил. Смертным боем бил! Одну руку в карман, а

другой лупит да лупит. Уж кулак побоев не принимает, а он все тешится — аж трясется... Не будет ему доброго конца...

— Вдвоем били или еще кто?

— Наш-то больше для видимости... А энтот — не для ради порядку, а по злобе.

— Из чужого парка драться приехал.

— Ничего... доиграется...

— Может, и наш кулак на что-нибудь нужен... Разве по-другому не будет...

... Вечерело. Я шел по размякшему шоссе в направлении Тухова.

Мягкие вечерние сумерки обволакивали небо и землю всепроникающей таинственной грустью. Все вдруг затихло. Затихло движение обозов. Затихли выстрелы. И люди шли по дороге какие-то прозрачные и затихшие.

Когда я отошел версты на две от деревни, я увидал, что с горы мне навстречу спускается лазаретный священник. Это высокий, плотный старик, монах киево-печерской лавры, с душой простой и открытой, с лицом деревенского мужика. Большая белая борода на черной рясе придает ему красивую строгость.

Он шел усталой походкой, плотно прижавши руки к рясе, и в его опущенной голове читалась смиренная покорность.

— Над чем задумались, батюшка? — сказал я, поровнявшись.

Он приоткрыл глаза и, медленно отрываясь от размышлений, сказал с печальной улыбкой:

— Над делами мирскими думаю.

И, как будто растроганный красотой грустящего неба, добавил задумчиво и строго:

— Трепетание души человеческой, смертной тайной одетой, постигаю.

Я почувствовал, что в душе опечаленного монаха рождается какое-то тревожное смущение, и, не желая выводить его из раздумья, хотел попрощаться. Но он поспешно остановил меня и тихо заговорил:

— Позвольте беспокойством своим отнять у вас толику времени... Хочу поделиться с вами большою тайной, которую господь и начальство доверили мне. Если никуда не торопитесь, послушайте меня, старика.

«Дней семнадцать назад приказало мне начальство явиться в Клодницу или в Кленовицу — не помню здешних названий — исповедывать солдата, присужденного к смертной казни. Напал он на жителя с целью грабежа. А тот с вооружением был. Оказал сопротивление. Солдатик возьми и пырни его ножиком в живот. Житель и скончался на завтра.

«Приказали мне явиться в два часа. Только шло тогда отступление от Тарнова: по дороге

госпиталей и обоза масса. Простоял я часа четыре на месте. Приехал об эту пору.

«Вошел я к солдатику. Человек молодой, действительной службы. Руку вперед протянул: кругом, говорит, виноват. Плачет-разливается. Ну, совершил я духовную требу. Думаю уходить. Нет, — приказали мне в епитрахили с крестом итти впереди солдата...

«Пришли мы в поле... Об эту пору было... Рота солдат стоит. Комендант. Офицеров много. Тишина-а-а...

«Вырыта среди поля могила, и впереди могилы столб стоит...

«Подвели солдата к столбу. Показали ему яму и лицом к солдатам повернули. Еще горше заплакал...

«Вышел комендант. Прочитал приговор. 12 человек грабителей было. Кого в дисциплинарный батальон, кому каторга вышла, кому смертная казнь... Других раньше казнили. Моему последняя очередь...

«Плачет-плачет солдатик. Упав поклонился миру. Крестное целование принял. Просит прощения: виноват... кругом виноват...

«Подошел я к нему, а у самого у меня руки трясутся, глаза закрываю...

« — ...Благословен господь в небесах. Тело твое виновно, а душа праведная есть...

«Привязали солдата к столбу, руки и тело веревкой перетянули...

«Перестал он плакать и сказал громко так:

« — Одна минута — и всей жизни конец...

«Потом на глаза повязку надели. Скомандовал роте офицер. И... как выпалили — все тело в кашу обратилось... Брызнула кровь на пять-шесть саженей кругом... Повалили тело со столбом в яму (столб подрубленный был) и засыпали.

«Пошел я к коменданту чай пить. Жалко так. Отчего бы, — говорю, — если положена человеку смерть, не послать такого в первые ряды боя... И его убили бы, и он бы скольких убил: отечеству польза.

«Нельзя,— говорит. — Тогда сотни таких нашлись бы: все равно в бою помирать, так чего им бояться?

«Потом говорю коменданту: просил меня солдат перед смертью — забрали у него денег 16 рублей. Хочет, чтобы жене отослали. Жена у него и ребенок дома остались...

«Обещал: сделано будет.

«И вот, знаете: две недели прошло... И такое впечатление, что никак забыть не могу. Сижу — он предо мной. Лягу — тем более...»

Я молчал, потрясенный.

Мы шли тихим шагом. Наполненные туманом и талым снегом котловины и балки от-

блескивали умирающим светом. Небо потухло и почернело.

Мы шли тихим шагом, и оба чувствовали себя ослабевшими и потухшими.

Справа, из придавленных сумерками домиков, неслась знакомая печальная песня:

...Нам не надобно ни сеять, ни пахать,
Ни цепом, ни косынкой махать.
Уж как подати казенные все сполнены:
Солдатьём-то все могилки переполнены...
Прийми, господи, ты душеньки крещеные,
Прийми, мать-сыра,—ты слезыньки соленые...

... С соседней батареи завернул к нам на часок капитан Герасимов. Молодой, статный, сильный. Он пользуется репутацией поразительно смелого человека. Имя его известно всем солдатам нашей дивизии. От доктора Железняка, у которого он лежал в лазерете, после ноябрьских боев, я слыхал о Герасимове как об интереснейшем собеседнике. Разговор завязался немедленно. Окинув быстрым взглядом столы, Герасимов небрежно указал на пачку газет:

— Неужели читаете?.. Я не могу: противно. У меня такое чувство, будто все лжесвидетели по консисторским делам порядились в газетные писаки. Что ни бой, то картина Верещагина. Гремит музыка боевая. Знамена реют в небе-

сах... А знамена-то несут позади, чуть не в обозе держат. Музыки никакой. Противника и в лицо не видишь. Ружье бьет на две тыщи шагов. В бой идут рассыпным строем. Вообще никаких парадов и фейерверков. Только зубами от страха кла́цаешь. В течение пяти дней и пяти ночей мы наблюдали издали наступление брусиловской армии. Канонада шла беспрерывная. На небе ни звездочки. Мы могли наблюдать, как полыхают молнии из пушек, и танцуют в небе шрапнели. Это было очень красивое зрелище. Но хотя я был в полной безопасности, я думал, конечно, не об эффектах танцующих огней. Я думал о возможном исходе этого боя, о тех путях, которыми достигается победа, о последствиях поражения. И уж, конечно, все эти мысли исключали вопрос о пушечных фейерверках. Кто с беззаботным сердцем прислушивается к грохоту сражений и не стыдится кричать об этом в газетах, тот либо плут, либо нуждается в помощи психиатра.

— Как, — удивляется Болконский, — вы отрицаете геройство и храбрость? Энтузиазм, экстаз, опьянение боем — это все, по-вашему, газетная ерунда?

— Конечно, бывают минуты страшного возбуждения, когда гневно раздуваются ноздри, и ты готов кричать и метаться. Но это совсем не то великолепное чернокнижие, которое опи-

сывают газетные Гинденбурги. Просто дикий порыв. Кидаешься в бой, как кидается бешеная собака, которая охвачена яростью и впивается зубами в первый попавшийся предмет. Но ведь к этому сводится вся военная подготовка. Когда офицер командует: пли! — то солдат уже чувствует перед собою врага, уже готов колоть, разрушать и драться. Война на том и построена, что она идет по бессознательным рельсам. Солдаты смотрят на взводного, взводный на фельдфебеля, фельдфебель на офицера. От одного к другому тянутся воинские нити, которые связывают всю армию с командным составом. Дернули ниточку в Варшаве, и по всему галицийскому фронту загремели тяжелые орудия, засверкали ружейные огни, и сотни тысяч солдат пришли в боевую ярость.

— Вы исключаете всякую инициативу в бою.

— Совсем нет. Чем больше личной инициативы, тем лучше для армии.

— Т. е. вы хотите сказать, что все зависит от личного мужества сражающихся?

— Вы опять не так меня понимаете. В том-то и дело, что никакого мужества нет!

— Ну, это, батенька, парадокс, — хохочет Костров.

— Господа, вы знаете какую-то театральную храбрость, которая существует только в воображении газетных писак,

— Позвольте, но признаете же вы чувство храбрости у людей?

— Такого чувства — не существует. Прошу меня выслушать. Храбрость не чувство, а результат многих чувств. Т. е. есть храбрые люди, но их отважные поступки подсказываются не какой-то врожденной храбростью или чувством безграничного мужества. Такого чувства не существует. Люди храбры не оттого, что в груди их обитает какая-то природная благодать, которая повелевает громовым голосом: будь отважен и смел! А потому, что гнев, или ненависть, или сознание долга, или профессиональное самолюбие подсказывают им такие решения и такие поступки, которые мы определяем как храбрые, смелые, героические.

— Но ведь это чистый софизм, — вставляет Болконский. — Не все ли равно, чем вызвано геройство? Вы говорите так: геройство вызвано гневом, а я утверждаю: гнев вызван геройством. В конце концов это сводится к схоластическому спору: кто явился раньше на свет — яйцо или курица?

— О, нет, мои милые! Это совершенно не так. Храбрость из ненависти это — одно. Храбрость из чувства долга — другое. Храбрость из преданности народу — третье... Есть разные храбрости. И гнев и ненависть это плохие советчики. Их храбрость дешевая, лубочная,

газетная. Но это, впрочем, неважно. Важно то, что врожденной храбрости нет!

— Что вы этим желаете сказать?

— Что храбрость это не вдохновение, а трезвая математика, сухой расчет. Да, храбрость часто соприкасается с осторожностью. Храбр по-настоящему тот, кто может себя з а с т а в и т ь б ы т ь х р а б р ы м. А безрассудная, стихийная храбрость не стóит ничего на войне.

— Я все-таки не понимаю, — говорит Медлявский, — почему вы так много значения придаете происхождению храбрости? Храбрость есть храбрость, из какого бы источника она ни происходила.

— Вот в том-то и дело, что вы знаете какую-то одну — фиктивную, театральную — храбрость. Из всех видов храбрости это самая лицемерная. Тогда как в действительности храбрость имеет тысячу ликов. Разрешите мне рассказать вам для пояснения несколько отдельных эпизодов из моего собственного опыта на войне.

«Припоминаю такой, например, случай. Нас стояло восемь офицеров третьей батареи. Вдруг шагах в сорока от нас разорвался снаряд. Пули взвизгнули и рассыпались. И было слышно, как кружится и воет в воздухе шрапнельная трубка и летит прямо на нас. Мы все продолжали разговаривать: и виду не хотелось подать,

что мы боимся. Но разговор не клеился. Я все время думал: куда? в живот или в ноги?.. Трубка упала в шести шагах от нас. Все вздохнули.

« — А ты обратил внимание, какие у нас лица-то были? — спросил меня товарищ, когда мы возвращались в халупу».

— Вы хотите сказать, что рисковали из простого самолюбия?

— Какое тут самолюбие? Просто глупость. Вот как сестры милосердия ездят на батареи или в окопы лезут, чтобы показать офицерам, что и они не боятся. Офицер Бендерского полка рассказал мне такой эпизод.

«Отчаянным натиском были взяты австрийские окопы. В шестистах шагах от окопов стояла неприятельская батарея. Охранения никакого. Прислуга в панике билась и путалась с лошадьми. Двух залпов пятидесяти пехотинцев было совершенно достаточно, чтобы захватить все орудия. Офицер кричал, звал — никакого внимания: солдаты шарили в неприятельских ранцах и жрали австрийские консервы. Офицер добавил:

« — Эх, кабы не подлецы-солдаты!»

— Но ведь виноват-то он сам.

— О прапорщике Сибирякове слыхали? Вы знаете, как он обучает необстрелянных новичков? — Бояться пули не надо, — говорит

он им. — От пули не убежишь. Думай не о пуле, а о том, что сказал тебе командир. Исполняй свое дело. Ты вот с меня бери пример!

«И он спокойно выходит из окопа и идет ровным шагом до заграждений. И так же обратно. На солдат это производит огромное впечатление. Но когда кто-нибудь из них тут же выскакивает из окопа, чтобы проделать то же самое, он топает ногами: «Дурак! ты не имеешь права рисковать жизнью; она принадлежит не тебе, а полку!..»

«Такую храбрость я понимаю. Человек обдуманно рискует головой ради известного решения. Ему поручили сделать солдата храбрым — и он делает свое дело, не считаясь ни с опасностью ни с риском».

— А много у нас таких храбрецов, как Сибиряков? — интересуется прапорщик Болконский.

— Нет, немного. Я знаю еще одного такого — полковника Нечвалодова.

— Ну, этого мы все знаем!

— И у себя на батарее я знал такого телефониста.

— Солдата? — спрашивает Костров.

— Да, солдата, и, как ни странно, еврея. Худой, лопоухий. В разговоре растерянный какой-то. А в бою удивительный молодец. Два Георгия получил.

— Расскажите о нем, — просит Медлявский.

— Извольте, расскажу.

«Это было ночью. Я сидел на наблюдательном пункте. Ночью... Канонада ужасная. Шел обстрел переправы. Прожектор нащупывал мосты, а наша батарея стреляла. Вдруг — перерыв на телефоне. Нажимаю на Зуммер (телефонная кнопка) — никакого ответа. Нажимаю раз, другой, третий... Знаю, что дежурный телефонист иногда засыпает; но они ложатся ухом на трубку и просыпаются мигом... Ну, ясное дело: перерыв! Надо послать телефонистов осмотреть провода. А канонада страшнейшая. Нехватает духу сказать: ступай на верную смерть!.. И вот совсем неожиданно подходит ко мне солдатик, лопоухий Мошка, как прозвали его наши артиллеристы:

« — Ваше высокородие! Надо проверку сделать.

«Посмотрел я на него: худой, лопоухий; бородка жидкая; глаза черные, спокойные, светятся, как жуки.

« — Твоя очередь? — спрашиваю. — Ну, ступай!

«Отсутствовал он минут 20. Как ахнет очередь, я все прислушиваюсь — не ранен ли? не кричит ли?.. Ну, пришел. Вид такой же. Даже не побледнел. Докладывает спокойно:

« — Ваше высокородие, в шести местах провода испорчены. Надо ждать до рассвета, ночью никак исправить нельзя.

«Посмотрел я на него и подумал: — Врет! Никуда он не ходил и ничего не видел.

«А он тем же спокойным голосом продолжает:

« — Дозвольте пойти на соседнюю батарею: оттуда передать можно.

« — Ступай.

Утром неприятель ушел. Канонада затихла. Осмотрел я провода: действительно шесть разрывов, и как раз в тех местах, о которых докладывал мне Мошка. У меня сердце так и дрогнуло. Ведь вот какой подвиг. И так спокойно, просто, не по-газетному».

— Как имя солдата? — спрашивает Болконский.

— Шулим Бельзер.

— А где он? У вас же на батарее?

— На батарее его нет.

— Убит?

— Нет... арестован.

— За что?

— Не знаю... как будто за пропаганду.

РАЗГРОМ НА ДУНАЙЦЕ

АПРЕЛЬ, 1915 г.

19 апреля. Дует сильный, холодный ветер. На много верст по шоссе растянулись обозы, парки, пешие дружины, понтонеры, саперы, телефонисты. И опять обозы, парки, двуколки и десятки тысяч людей, одетых в кожухи и шинели. Гул орудий сливается и временами совершенно тонет в скрипе и грохоте колес по шоссе. Пыхтящие тракторы свирепо режут толпу. Лошади пугливо прядают ушами, храпя, становятся на дыбы. Людские голоса и конское ржанье превращают всю эту катящуюся лавину в одно гигантское тело с железной гортанью и разгоряченной бешеной кровью. Отжимая бесконечную вереницу тел и возов к самой обочине, мчатся с треском и ревом грузовики, автомобили и мотоциклетки. Навстречу нам попадаются обозы с хлебом и сеном, гурты скота. Никто не знает, куда они едут, зачем. Дикие, свирепые крики, толкотня и долгий затор. Два встречных потока из ног, колес и хвостов наседают,

лезут, орут и упрямо стоят на месте, друг против друга, как сцепившиеся рогами быки. Это солдаты 13-й бригады и сибирские стрелки, только-что высадившиеся в Дембице и идущие туда, где так грозно рычат германские пушки.

— Откуда?

— Из-под Варшавы, из Сохачева.

— Куда?

— Не знаем.

Может быть, это — то самое подкрепление, о котором так жадно мечтали усталые полки? А может быть... Может быть, в самом деле немцам готовится ловушка?

Обе столкнувшиеся лавины упрямо стоят и топчутся и все же как-то незаметно просачиваются в разные стороны.

За Дембицей шире шоссейная дорога и размашистей ход. В стороне четыре наших биплана стоят наготове. По счастью, сильный ветер мешает набегу вражеских летчиков. Иначе от одной бомбы были бы сотни жертв. Люди идут густой рекой. Достаточно ранить двух-трех лошадей, чтобы вспыхнула невообразимая паника, чтобы паника превратилась в страшное бедствие.

На лицах жителей злорадное изумление.

— На Краков — тэнды (туда), — указывают они ехидно на запад.

Иные робко осведомляются:

— Куда вы?

— Приказано удирать по 30 верст в час, — беззаботно отшучиваются солдаты. И тут же спрашивают: — За кем лучше — за Россией или за немцем?

— Краше з Росій, ніж німець, — отвечают русины.

— Врешь! По носу вижу, что врешь...

— По куткам шепчетесь, на нас пальцем показываете. Рады, что русских бьют.

Идет мелкое randоме мародерство. Бесцельное, наглое. С заборов снимают торбы, ведра, посуду. Забегают во дворы, шарят в крестьянских избах, грабят дома, фольварки, местечки. И через 20 минут все награбленное летит под ноги грохочущему потоку. Бросают все, что берут: сорванные с окон кисейные занавески, плюшевые скатерти, белье, самовары, кастрюли, граммофонные трубы, пластинки, вазы, щетки, горшки... Все это запружает дорогу, трещит под колесами и разжигает жажду погрома. Бросают одно и снова грабят лежащие по пути дома и снова бросают... Бегущая армия не ведает ни жалости ни евангельской любви и с презрительным отвращением относится к патриотизму, суду потомства и чужой собственности...

В обозе кубанских казаков треснуло колесо. Мигом сотни кубанских молодцов рассыпались по дворам и по полю и на арканах приволокли десятки крестьянских телег, за которыми с кри-

ком бежали испуганные мужики. Кучи солдат, запружая дорогу, столпились, любуясь удалью мародеров. Из некоторых дворов казаки притащили на возах растерянных девушек.

— У казачни ноздря на всякую...... бабью раздувается, — весело комментируют зрители.

— Що це русинські баби так до казаків ласи, — лукаво подмигивает оборванный дружинник. — Мабуть вони думають, що от ніх і діти таки — з кінем и шашкою одразу... [1]

Каждая новая победа кубанцев на мародерском фронте вызывает общее ободрение:

— Ловко! Казаки дремать не будут.

Вся дорога усеяна по обеим сторонам брошенным интендантским добром. Груды прессованного сена, овса, муки, консервов, бочки, ведра, мешки. Интенданты упрашивают парки:

— Берите!.. Все равно пропадать... А у вас в ящиках пусто... Бросать приходится... Берите!..

Но никто не берет. Воруют солдаты и население. Дарить населению нельзя, дабы продукты не попали в руки противнику. Солдатам тоже не велено давать — из боязни, что солдаты будут продавать населению. Так и валяются

[1] Чего это русинские бабы так до казаков падки?.. Верно они думают, что от них и дети так сразу готовыми казачатами родятся, — верхом на коне и с шашкою?

сотни и тысячи пудов пшена, муки, консервов и сахара, обреченные на бесцельное истребление. Интендантство нашей дивизии умоляло заведующих хозяйством взять у него 170 пудов рафинаду. На долю нашей бригады предлагали 30 пудов. 1 200 артиллеристов нашей бригады легко могли бы рассовать по карманам и втрое больше. Но солдатам давать нельзя, и строго-настрого наказано командирам:

— Под вашей личной ответственностью — никаких попущений!..

Только хлебопекарни да санитарные транспорты, которые едут порожняком, ломятся под грудами неожиданной благодати.

Солдаты поглядывают на горы консервов и мешков, охраняемых от покушений казаками, и злобно посмеиваются:

— Лучше собаке брошу, а у солдата изо рта выдеру.

— Сто лет вошь гоняй, а начальству все мил не будешь...

Чем дальше от Дембицы, тем больше гусиных голов под ногами. Солдаты ловят кур и гусей и на ходу скручивают, отрубают, отсекают им головы. Воздух дрожит от птичьих криков. Отделенные гусиные головы лежат придавленные к земле с разинутым клювом и вытекшими глазами. Ими отмечен весь путь до Домбе. Район между Дембицей и Домбе издавна назы-

вают гусиным царством. Здесь все деревни и села разводят сотни тысяч гусей. Осенью приезжие прасолы закупают их целыми вагонами и гонят гуртами до границы. Чтобы гуси не сбивали и не ранили себе лапок на каменном шоссе, их «подковывают» по местному способу: опускают лапки в смолу и потом гонят по мелкому гравию; гравий присыхает к смоле, и гуси безболезненно совершают свои многоверстные марши.

Предприимчивые лазареты и госпиталя тут же скупают по дешевке замученную птицу и суют ее в походные кухни. Возы, дороги и люди покрыты выщипанным перьём, и это еще больше подчеркивает погромный характер отступления.

Многих внезапно охватывает какая-то хозяйственная прыть. Они доверху нагружают свои транспорты брошенными мешками, суют в сиденье, в передки, в фуражные тюки, в карманы сахар, банки, консервы. В одном месте телефонная полурота побросала всё телефонное имущество и запрягла своих лошадей в крестьянские телеги, нагрузив их богатой интендантской добычей. Новенькие телефонные двуколки с телефонной проволокой и просмоленными канатами валялись брошенным хламом. Дивизионному врачу одной из отступающих дивизий стало жалко. Раненых не было. Он припряг к теле-

фонному имуществу заводных[1] лошадей и почувствовал себя Мининым и Пожарским.

— Сволочи, — орал он в патриотическом азарте. — Мужичье! Ну, разве немец способен на такое?.. Только тупоумный русский мужик, понятия не имеющий о патриотизме, топчет сапогами свое добро...

— Послушайте! — взывал он к командирам частей, — если бы всякий из вас сделал то же самое, мы спасли бы половину имущества...

К вечеру дивизионный врач был в полном отчаянии.

— Помилуйте, — жаловался он госпитальным докторам, — мне некому, понимаете, некому сдать это имущество. Никто не берет!.. Обращаюсь в штаб дивизии — там отвечают: телефонное имущество нам не подведомственно; обратитесь в штаб корпуса. Штаб корпуса отвечает: у нас нет организации, которая этим ведает.

« — Но что же мне делать с телефонным имуществом?

« — Обратитесь в штаб армии.

«Через час добрался до штаба армии. Там вытаращили глаза на меня, и какой-то штабной

---

[1] Слабосильные лошади, плетущиеся без запряжки в хвосте.

«фазан», небрежно играя хлыстиком, промямлили:

« — А у вас есть бумага?

« — Какая бумага?

« — Ну... предписание есть?

« — Откуда ж у меня может быть предписание, если имущество, брошенное вами, я подобрал на дороге?..

« — Э... э...: В таком случае... извините... Без бумаги мы принять не можем...»

— Придется бросить... Еще попадешь под суд за мародерство, — сокрушается незадачливый Минин.

Девятый час кряду откатывается разбитая армия от Дунайца. А неприятельские орудия грохочут с такой же силой, как раньше. Люди и лошади устали. Раздражение охватывает всех, и чаще вспыхивают враждебные стычки между отдельными частями. Два наших парка с управлением легко опередили тяжелые обозы. Крепкие артиллерийские лошади с грохотом несут пустые ящики и двуколки. Ездовые нахлестывают лошадей, чтобы раньше других добраться до стоянки и занять все лучшие помещения. Это злит конкурентов. К прапорщику Кузнецову, ведущему головную колонну первого парка, подлетел какой-то полковник:

— Это ваш парк?

— Так точно.

— Что же, вы не знаете, кто я такой?

— Не могу знать.

— Я комендант штаба корпуса, к которому и вы теперь принадлежите. Вы не имеете права опережать обозы. Если бы вы ехали на позиции, я уступил бы вам дорогу; а теперь вам спешить нечего.

— Я не спешу. Мы идем обыкновенным парковым шагом.

— Распорядитесь, господин прапорщик, чтобы нам дали место.

— Впереди мой командир. Я не в праве отдавать приказания.

— Так найдите вашего командира и передайте ему мое распоряжение.

Кузнецов поскакал, а за ним следом помчался полковник. Подлетев к Кордыш-Горецкому, полковник закричал:

— Это безобразие! Ваше люди заняли всю дорогу. Распорядитесь немедленно...

— Виноват, господин полковник! Впереди командир бригады. Я не могу отменять его распоряжения.

— Ведите меня к командиру бригады, — вскипел полковник.

Кордыш-Горецкий пришпорил лошадь, полковник понесся за ним. Подъехали к Базунову.

— Это чорт знает что! Я буду жаловаться в штабе. Вы не имете права итти впереди кор-

пусного обоза. К тому же изранили мою лошадь: ободрали ей весь зад вашими зарядными ящиками.

Базунов приложил руку к козырьку и роняет, чуть усмехаясь:

— Откуда мне было знать, что мы имеем дело с таким высокопоставленным обозом и с таким чувствительным задом?..

Полковник умчался, свирепо потрясая нагайкой.

Попрежнему грохочут пушки. Бесконечный поток колес, лошадей и серых шинелей попрежнему лязгает, ухает, ругается, проклинает, фыркает, тарахтит, скрипит, матерщинит и утопает в тучах едкой каменной пыли.

Иду обочиной, окруженный толпой дружинников.

— Далеко? — спрашиваю их.

— В Мелец... От Пильзны верст 50 умыкали. Верст 20 осталось.

— Чего привала не делаете?

— Нельзя. Приказано притти сегодня.

Вдруг у края дороги затрещал автомобиль.

Впереди сбились в кучу, затрудняя движение, двуколки первого парка. Какой-то седоусый генерал мановением пальца подозвал прапорщика Растаковского и приказал, свирепо пуча глаза:

— Расчистить дорогу! И прошу по-энергичнее: бить морды! пулю в лоб!..

Через две минуты автомобиль беспрепятственно катил по расчищенному шоссе. Кто-то из дружинников усмехнулся:

— У начальства нрав легкий... Как у машины: нафырчит, насмердит — и ходу...

— Хоть бы порядок какой, — вздохнул другой.

— С начальства не стребуешь, — ядовито бросает первый голос.

— Против начальства не поспоришь, — вызывающе смотрит мне в глаза рослый солдат. — Начальство — что смерть: сама себе выбирает, а до ней не доберешься...

Вечереет.

Люди еле бредут. Кучка пехотных прапорщиков, громко разговаривая, идет, отбившись от части. Молодые, свежие голоса. Ловлю долетающие обрывки:

— Нет у нас снарядов — и баста. Хоть по миллиону за патрон плати — нету. Через две недели всю Галицию отдадим из-за этого...

— Я начинаю верить в Вильгельма...

— Немцы народ настойчивый, — не нам чета...

— Снарядов нет. Людей нет. Тогда кончайте войну!..

... В Домбе пришли к 9 часам вечера. Остановились в полуверсте от станции, в бывшем трактире «Австрия». 1-й парк — через дорогу, 2-й парк — в двух верстах от нас. 3-й парк (сейчас головной) перешел в распоряжение штаба дивизии и остался далеко позади — под Дембицей. В «Австрии» тесно, душно и грязно. Половину «Австрии» занимает оркестрион, приводимый в действие 10-геллеровой монетой. Койки расставлены вплотную. Офицеры возбуждены и не ложатся. Каждую минуту в двери стучится новая часть в поисках ночлега и помещения. Адъютант и Болконский наменяли геллеров у хозяина и поминутно пускают в ход оркестрион. Звуки матчиша привлекают толпы солдат, которые готовы пуститься в пляс, несмотря на усталость. Но по требованию командира музыку прекращают. Базунова томит бессонница. Сидя полураздетый на койке, он бубнит недовольным тоном:

— Ну, вот: начинается то, что я предсказывал. Этот подлец Брусилов добился своего... На чорта мне его храбрость. На кой нам дьявол все эти дурацкие Козювки. Из-за двух георгиев лазает по отвесным скалам. К чему?.. Только людей тратят...

В комнату глухо доносится полузатихшая канонада. Света нет. Большинство офицеров уже тихонько посапывает. Базунов, охвачен-

ный приступом обличительного зуда, бросает сердитые выкрики в темноту:

— Заманули дурака — лезь в мешок. Я бы его, мерзавца, повесил. Показывает чудеса храбрости. Что у нас не солдаты, а «чудо-богатыри», это все знают. А вот у нас командиры — прохвосты, об этом только немногие догадываются. Ну, на кой чорт нам понадобилась эта вонючая Галиция, где население нас сожрать готово, где все работают, как один человек: шпионят, выведывают, доносят...

Просыпаюсь от неожиданного грохота. Кто-то тяжко штурмует наши двери.

— Кто это ломится? — кричит Базунов.

Парк четвертой тяжелой батареи. Шел прямо из Тарнова в Мелец: 62 версты. Добрался до нас во втором часу ночи и просит приютить офицеров.

— Могу уступить свое место; я все равно не усну, — говорит Базунов.

Офицеры уходят, а Базунов продолжает свой обличительный монолог. Желчно и въедливо он выбрасывает фразу за фразой, не давая мне спать:

— Вот попомните мое слово: через две недели Галицию отдадим. Я это давно знал! Только боялся говорить. Ведь скажешь здравую мысль, не кричишь «ура», — изменником еще прослывешь... Мы должны понимать, что

*

нам далеко до Европы. Нам нужно было закопаться поглубже, обмотаться проволокой на 25 верст и сидеть притаившись. Хотите брать нас, — пожалуйте к нам. Разбивайте ваши умные головы об наши медные лбы... Теперь попробуйте, уберите наши войска и грузы. Отрежут на Сане — и потом переловят по частям... Да и как воевать, когда снарядов нет, оружия нет... А тут еще при дворе идет медленная, но верная работа: продают по частям Россию...

— О, боже, — вздыхает проснувшийся Болконский, — вы все еще, Евгений Николаевич, с Карпат не спустились...

— Нет, вы подумайте, — набрасывается на него со свежими силами Базунов. — Нужна мне его храбрость... Вот там добейтесь победы, на севере. Тогда Галиция сама в руки нам поплывет... Прямо, как нарочно, все не так делают, чтобы к поражению привести... А немцы все учитывают. Дают нам проходы: подставляйте свои лбы... А когда время придет — тогда свое дело сделают... И делают, подлецы! Ох, как делают...

... Сквозь утреннюю дрему долетает бубнящий голос командира. Неужели все еще разносит Брусилова?

— Поздравляю вас с новой командировкой... Разводите скорей озёра вокруг себя (так подсмеивается Базунов над моей привычкой делать утренний туалет на свежем воздухе, не жалея воды) и немедленно скачите, что есть дух, на Карпаты. Наш неутомимый дивизионный врач не отстает от своего штабного начальства. Прислал вам экстренную боевую эстафету.

— В чем дело, Евгений Николаевич?

— Немедленно командировать врача бригады в 3-й парк, находящийся в непосредственном распоряжении штаба дивизии.

— Куда именно?

— Стратегическая тайна.

— Как же я доберусь?

— Очень просто. Поймайте неповешенного ксендза и спросите: где 3-й парк 70-й дивизии? Наверное, осведомлен лучше, чем все дивизионные генералы.

Едем с Коноваловым налегке. Только шинели приторочены к седлам, да по банке консервов в кобуре. Базунов, по обыкновению, читает прощальное напутствие:

— Я говорю вам, как машинисту, который отправляется по неисследованному пути: будьте осторожны. Может случиться, что вам придется изменить свой маршрут. Может выйти так, что мы разойдемся. Если придется отступать, держите путь на Кольбушовку — и далее на Развадов...

Гудит аэроплан. Гудят далекие пушки. Коновалов беспечно машет рукой:

— Хай він про нас не журиться. Ми свою стежку добре знаэм.[1]

Обозов гораздо меньше. Дорога, как и вчера, усеяна рваным тряпьем, обломками ящиков и досок, битой посудой, перьями, сплющенными гусиными черепами. Казаки сонно дежурят у интендантских мешков. Жители робко поглядывают на проходящие части. Солдаты кричат, матерщинят и хватают за груди девушек.

Погода тихая, ясная. Голубое небо радостно улыбается. Мерно покачиваясь в седле, чувствуешь себя крепко слитым с конем, с дорогой и с бодрым постукиванием подков.

Едем на Дембицу. Чем ближе к месту, тем оглушительнее пушки. В 10 верстах от Дембицы делаем привал. Мимо плетется обывательская подвода, нагруженная чемоданами. В подводе военный доктор. Поровнявшись с нами, он торопливо соскакивает с телеги и кричит в нашу сторону:

— Не научите ли, как мне пробраться на станцию Чарна?

— Чарна? Она давно уже у немцев...

---

[1] Пускай он об нас не печалится. Мы с нашей дорожки не собьемся.

— В самом деле? — изумляется доктор и с нескрываемой радостью добавляет: — В таком случае я возвращаюсь в Любачов.

У доктора черные с проседью волосы, добродушные губы и полная фигура сангвиника в полковничьих погонах. Он поспешно вытаскивает большой походный ларец из чемодана, и мы вчетвером с его возницей приступаем к закуске. Прихлебывая большими глотками (пьем по очереди из чашки), доктор весело повествует:

— Еду я, понимаете, в Чарну. Главным врачом запасного полевого госпиталя. Полгода прослужил в Любачове, прекрасно наладил дело. Так вот тебе: приказывают в Чарну ехать. А в Любачове, видите ли, общеземская организация свой лазарет устроила. Передал им 600 больных. Мрут, как мухи. Одно безобразие. Полторы бабы приехали и выписали себе в помощницы двух сестер милосердия и трех оспопрививательниц. У меня амбулатория ежедневно во 100 человек была. А у них больные бегут. Оставил им 14 человек санитаров из команды для выздоравливающих, так они все теперь на позицию просятся. С ног, жалуются, сбились: по 20 раз приказание отменяют, да еще голодать приходится.

— Для чего же вас переводят?

— А чорт их знает! Получил бумажку: немедленно. А земский лазарет не едет.

Через неделю — хлоп! Новая бумажка: с угрозами. Ну, приехал мой лазарет. Стал я сдавать, возиться. А тут и третья бумажка — еще грознее. Мне-то, положим, наплевать. Я — портартурец. Давно свое отслужил. Ну, поехал я в Сумы к своей семье. В Сумах я в кадетском госпитале врачом. Мне и служить не надо. Сам напросился. Ну-с, погостил я дома... Поехал в Любачов за вещами... Собрался скоренько — и в Чарну. А тут, выходит, новое осложнение...

Доктор радостно пожимает мне руки и, взгромоздившись на чемоданы, говорит встревоженным голосом:

— Хоть бы не обстреляли. Наверное с аэроплана обстреляют.

— А вы об этом не думайте. Все равно не поможет.

— Да мне что? Я порт-артурец. Я по собственному желанию пошел.

Вечерело, когда приехали в Дембицу. Ищу на станции коменданта и натыкаюсь на доктора Шебуева.

— А вы здесь как очутились?.. Опять за детритом? Парк, говорите, ищете?.. Какие же тут парки? Давно артиллерия ушла. Одна пехота осталась. Да наш лазарет. Из Тухова сюда перешли со всеми придатками: с генеральшей, с «кузинами», с Шульгиным. Попрежнему

все развертывается. Один за всех отдуваюсь. Здесь, впрочем, по диспозиции еще один госпиталь указан: из Чарны. Но тоже — не то «развертывается» не то «свертывается». Говорят, главного врача третий месяц «срочными» бумажками бомбардируют, а он хоть бы что...

Разговор обрывается Коноваловым:

— Прапорщик Виляновский на станции.

Виляновскому 22 года. Студент-политехник. Владелец небольшого имения на Волыни. Барич, скептик и польский патриот. Высокий, рыхлый, белотелый, с голубыми глазами навыкате, он вял и ленив. С офицерством — настороже. Пьет мало, но скоро хмелеет. А напившись, идет в команду и бьет по лицу солдат. На вопрос возмущенного Болконского:

— Что ж, вы и в польской армии будете так драться?

Виляновский как-то ответил с задумчивой улыбкой:

— У меня две мечты: поехать охотиться на тигров и обить мой кабинет в имении негритянскою кожей.

Говорит врастяжку и нагловато:

— Случилось все так, как полагается. О нас забыли. Штаб дивизии за Пильзну удрал, а нас покинул. Вспомнили случайно, когда снаряды понадобились. Выяснилось, что парк в п е р е д и артиллерийских позиций находит-

ся, рядом с окопами. Командир артиллерийской бригады, полковник Горелов, приказал парку отодвинуться к Дембице. Теперь по приказу из штаба дивизии мы опять откомандированы в распоряжение Базунова. Сейчас еду к Базунову за предписанием.

— Как дела?

— Неизвестно. Надо быть наготове каждую минуту к отступлению.

— Где вы сейчас стоите?

— Вон в том лесочке. Версты три отсюда. Стояли вначале в экономии, но, во избежание обстрела с аэропланов, в лесу укрылись. Обстановка экзотическая. Костры. Палатки. Минёры — мосты взрывать.

— А найти вас в лесу легко?

— Прямо по дорожке пойдете — наткнетесь на сибирских стрелков. А мы — тут же, рядом с резервами.

... В лесу темно. Ведем лошадей на поводу. Издали мигают костры. Посылаю Коновалова разыскивать парк, сдаю ему лошадь, а сам подхожу к кострам. Не видно ни лиц ни фигур. Только смутно маячат какие-то темные тени. Но голоса разносятся гулко, как под мостом. Слышно каждое слово.

— Вот крови где пролито — на Ужокском перевале. Выбила яво наша дивизия. Бились

крепко, жизни не берегли. Должны были дальше двинуться. А тут приказ. От начальства. 61-й дивизии — на кажного солдата по 25 патронов, а каждому саперу — по 5. Пришлось отступить...

— Хоть начальство, а по другому враг, — вставляет новый голос.

— Очень просто, — сурово продолжает рассказчик. — Такого первой пулей убить... Долго ребята не козырялись — послали жалобу верховному. Тот бумагу в дивизию: где приказ? покажи! Пошвырялись в приказах: нет. Как скрозь землю все провалилось. Теперь два генерала арестованы.

Звенят жестяные чайники, и чавкающие губы, обжигаясь, прихлебывают чай. Пьют кряхтя и сморкаясь. И снова несется из темноты густой задумчивый голос:

— Встали все, как один. За тыщи верст от насиженных мест угнали. А тут — во как геройствуют... Опомнятся, да поздно будет. Такой порчи напустят...

— Через всю Россию измена пущена, — гудит чей-то твердый голос. — От верных людей слыхал. Приказала царица все заводы с патронами поджечь. И написала письмо Вильгельму:

«Теперь иди! Голыми руками Россию взять можно».

— Эх, милай! — звонко вливается в темноту задорный и свежий голос.

— Не там измену искать надо, где доселе искали...

Тихо, темно и грустно. Теплая ночь налита запахом леса и влажной земли. Где-то в пруду или в болоте тоскливо квакают жабы. От пылающих костров вдруг отрывается и широко уносится кверху звенящая, жалобная песня, такая же грустная и ароматная, как новь:

Не на тот ли мертвый нà голос
Псы железные залаяли —.
В чистом поле над окопами
Медны коршуны загрàяли...

Стонет пахарь, плачет лапотник,
Кличет-кажет черну вòрону:
Ты лети-кось, птаха вольная,
Во родиму милу сторону.

Ты шепни-кось старой матушке
Во святое утешеньице —
Уж как милостями взысканы
Мы на царском попеченьице.

Резвы ноженьки изрезаны,
Крепки рученьки закованы,
На победной на головушке
Ясны оченьки поклёваны...

...Перехожу от костра к костру. Всюду песни. Всюду, как древние колдуны, сидят и

лежат всклокоченные, бородатые мужики, курят, прихлебывают, плюют и роняют веские фразы:

— Достукались... Довоевались... Теперь пойдем Галицию мерять...

— Навалился тыщей орудиев — ревёт и ревёт. А у нас — руки две только, да штык...

— Не осилить яво, не одолеть...

— В корыте моря не переплыть...

— С шилом на медведя — где уж?..

— Вот уж верно, что молодец из пушек палить... Только против песни нашей русской— ку-уды!.. Хоть с немцем, хоть с какой угодно нацией спорить буду, — говорит мягкий голос и заливается щемящей, раздольной песней:

Во густых хлебах яма черная,
Во сырой земле—гробовà доска...
За бугром лежу, да за насыпью.
Эх, ты лютая невтерпёж-тоска...

Уж как первая моя думушка —
Ты чужà земля, австрияцкая,
Во густых лесах, во глубоком рву
Ты чернà земля — яма братская.

Тяжче грому бьют пушки медные.
Во глубоком рву — ясны оченьки,
А вторая, ох, дума-думушка —
Ты развей тоску, тёмна ноченька.

Градом-тучею пули стелются
По над кручею над карпатскою.

Не сказать вовек, не поведаю
Третью думушку я солдатскую.

Во глубоком рву наточу я штык,
Во глухи леса уйду-скроюся...
Да тому ль дружку — штыку вострому,
Я спокаюся и откроюся!..

... Подхожу к большой группе. Гудит хриплый бас вперемежку с певучим тенором. Издали узнаю Асеева. Живописным табором разлеглись лошади у коновязи. Искрами разлетается пламя костра.

— Живой огонь скрозь щель пробивается,— долетает голос Асеева. — А ты, — знай, молчи...

Стою, скрытый сосной. Близ самого пламени лежат чужие солдаты. Много наших артиллеристов. Выделяется лохматая, грузная фигура огромного пехотинца в папахе. Шагах в двух от него, спиной к костру, сидит бледный Асеев.

— Видать, штунда, что ль? — бросает хрипло огромный пехотинец, остро блеснув глазами из-под бровей.

Потом, затянувшись цыгаркой, говорит раздраженным голосом:

— Кожна тварь о беде своей жалуется, кожный пес скулебный — пни его — заскулит не в очередь. А мужик все молчит, да к богу жмется...

Говорил он окая и крепко выдавливая слова.

— А ты в бога веруешь? — строго взглянул Асеев.

— Бога не замай, — лениво сплюнул гигант, — на ём свой венец, не солдатский.

— Погоди... Словами не хряскай, — заволновался Асеев. — Я тебе простое слово скажу, а ты вникай... Скатилась слеза хрустальная — и нет ее. Ан слеза-то в сердце горит... Так вот оно все в саду божием: звездочка гинула, закатилась — солнышком выглянула... Перстами господними деются дела человеческие. Не по нашему хотению — по воле божией... А ты, знай, ж и в и, да душу во цвету хорони...

Пехотинец приподнялся на локте и выпечатал с угрюмой усмешкой:

— И воробей-то живет, да житьишко его какое: ножками по снегу бегат и г... клюет.

— А ты терпи, — воскликнул Асеев. — Т е р п и!.. Христос терпел — и нам велел.

— Штунда! Дуй тя горой, — захохотал пехотинец. — Христа до нашего брата ровнят!.. Н-не, ты псалтырь не топчи. Христово дело одно: Христос для души порядку по земле ходил. А то — наше дело, не небесное... На котором грехи, как воши, сидят... Я, может, сотню душ загубил... Своей мы, что ль, охотой на такое дело пошли?..

— Правильно! — загудело из темноты. И как блохи запрыгали острые словечки:

— В бою — не в раю...

— Вперед себя под пулю Христа не пошлешь...

— Наше дело — солдатское: стой столбом, да сполняй, что велят...

— Чу-дак ты, Асеев, — юлой врывается беспечный смешок Блинова. — Христос в небесах, а солдат в окопе — на голой ж... Нацепикось Христу винтовку, легко ль ему будет?..

— Дело! — крякают наши артиллеристы.

— Уж ты, Асеев, не спорься. В нашем деле псалтырь твоя дешево стоит.

— Э-эх! Оглушило вас до-глуха пушками,— вскочил, весь трясясь, Асеев. И понес певучей, волнующей скороговоркой, по-сектантски, с истерической дрожью выкрикивая отдельные слова:

— Гудит людям смерть словом огненным: «Стоят ворота железные, замками замкну̀тые. Велики ворота, как грех греховный... Глянь, мужик, поверх силы твоей сермяжной... Ходит война, зубами в тело вгрызается; рушит земли крещеные... Опился лют человеческой кро̀ви людской. Земля от крови па̀ром пошла. Не стало свету божьего в глазах, найтить себя не знает мужик. Стучит рукой смертною в ворота железные. Ан ворота голос душе подают...»

— Заплясал, как дождь на болоте, — смеясь вставляет Блинов.

Но Асеев не слышит. Он весь трясется в экстазе:

— Сбереги душу свою во цвету — и травинка садом покажется. Закажи...

— Полно, ты, врать, Асеев! — обрывают солдаты.

— Одна тут у всех заказчица: на нее все работаем...

— Мол-чальник, разрази твою душу! — сердито сплевывает пехотинец.

Ворочаясь, как медведь, он встает во весь свой гигантский рост, швыряя отрывистые слова вперемежку с матерщиной:

— Н-не!.. Намолчались!.. Будя...

И, тяжело ступая, уходит в темноту, откуда с песней попрежнему несутся волны глубокой человеческой грусти.

Я подхожу к Асееву. Он бледен. Губы его трясутся.

— Хорошо поют, Асеев, — говорю я ему.

Асеев вслушивается, пристально смотрит на меня, и на лице вдруг появляется привычная, светлая улыбка:

— У земли — ясно солнце, у людей — ясно слово... Песней душа растет.

... Срочное предписание от инспектора артиллерии:

«Доносить спешно, два раза в день, о количестве имеющихся в парках снарядов и иметь при штабе корпуса все время двух ординарцев для экстренных распоряжений. Установить немедленно питание со ст. Ржешов. Адъютант инспектора артиллерии Киркин».

Через полчаса срочное предписание из штаба IX армейского корпуса:

«Питание огнестрельными припасами из местного парка в Ржешове. Эшелонироваться всем парком по направлению от Дембицы на Ржешов. Согласно этому, головному эшелону головного парка находиться в районе Пильзны. Остальным эшелонам через Заваду — Райчицу до концевого в Ржешове. Вся парковая бригада переходит с сандомирского шоссе на ржешовское и эшелонируется шестью полупарками от позиции (Пильзна) через Дембицу до Ржешова. Эшелонам быть на месте назначения к 12 ч. ночи».

Командир рвет и мечет.

— Просто житья нет, — кричит он в полном отчаянии. — В этом девятом корпусе — форменный кабак. Все растерялись. Отдают распоряжения одно нелепее другого. Ну, скажите на милость, чего я погоню в Пильзну головной эшелон, когда снаряды тяжелой германской со вчерашнего дня ложатся позади Пильзны и мы через час покинем эту позицию? Кого чорта

я полезу в Заваду, когда всякому идиоту ясно, что не успею я приехать в Заваду, как мне прикажут передвинуться в Кшиву. А из Домбе до Кшивы — рукой подать. Ординарцы едва ходят. Лошади скоро откажутся возить. Где мы теперь будем брать провиант? Не знаю... От нас требуют форсированных рейсов и в то же время циничнейшим образом заявляют: питайтесь, как знаете, и изворачивайтесь, как хотите, по своему усмотрению...

Резкий стук в двери прервал излияния Базунова. В комнату вошел незнакомый офицер:

— Разрешите у вас передохнуть. Офицер 6-го понтонного батальона.

— Как вы здесь очутились? — спрашивает Базунов.

— Приказано перейти в Ронишев.

— Отступаем?

— Пока нет. Но на всякий случай. Куда мы с нашей бандурой денемся в суматохе? Да и устали мы страшно после вчерашнего разгрома в Ясло.

— После какого разгрома?

— Мы были в 10 корпусе. Ночью, во время отступления, когда шли обозы второго разряда, казачья сотня сдуру стала кричать, что прорвался австрийский эскадрон. Солдаты моментально побросали обозы, понтоны, выпрягли лошадей и ускакали. Все австрийцам досталось.

— Где же сейчас 10-й корпус?

— Вдребезги разбит. Калужский полк в Карпатах остался. От Воронежского полка одна знаменная рота уцелела.

Офицер сидит, понуро опустив голову. Потом медленно говорит усталым голосом:

— Четыре месяца стояли без дела. Неужели снарядов не могли изготовить? О чем же они думали?.. Нет снарядов, — так заключай мир. Смеялись над немцами, что они из дверных ручек шрапнели льют, а у самих и глиняных ядер нет. Нечем воевать, — так складывайте оружие и сдавайте без бою всю Россию. Но не обманывайте нас... Гоняют с места на место. Из Ясло в Заваду, из Завады в Кшиву, из Кшивы в Ронишов... Таскаешься с нашей бандурой по 50 верст в день. Для чего?.. Понять не могу. А вы понимаете, г. полковник?..

— Не больше, чем вы, господин капитан, — отвечает Базунов.

— Что ж, в России им так и промолчат? Надо жаловаться в Государственную Думу.

— На что жаловаться? Что в России нет нужных заводов? Что Германия опередила нас техникой на целое столетие?

— У них Крупп. У них гигантские пушки. Хорошо. Мы не требуем ничего гигантского. Но пускай у нас будут 10 малюсеньких Круп-

пов. Изготовляйте снаряды для наших маленьких пушек.

— В том-то и дело, что и для этого тоже нужны машины, инженеры, рабочие, которых у нас нет. Не в пушках дело. Война показала, что нам не хватает образования, у нас нет хорошо подготовленных людей, хорошо оборудованных заводов. Все у нас гнилое и второсортное. Потому, что мы всегда рядились в чужие обноски. Все получали из немецких рук. Вот мы и устроили себе бал...

В комнату входит ординарец с донесением из головного парка:

«В головном парке осталось только несколько сот шрапнелей. Между тем, в нашем парке дожидаются, кроме 12 зарядных ящиков 70-й артиллерийской бригады, 8 зарядных ящиков из 13-й сибирской бригады и 2 зарядных ящика 2-й казачьей терской дивизии. Из Ржешова прапорщик Болконский доносит, что заведующий местным парком в Ржешове заявил: снарядов вам не дадим, мы назначены для питания карпатской армии; ваш местный парк — в Развадове. Штабс-капитан Калинин».

— Ну, вот, — вскакивает в раздражении Базунов. — Нельзя же воевать одними штыками. Мы все-таки живем в 20-м веке и воюем не с кафрами, а с Гинденбургом.

———

... Отступаем. Идет переправа через Вислоку. Бомбы, аэропланы, шрапнели. Далеко, далеко полыхает дымное зарево: это горит зажженная снарядами Пильзна. Узкая, гибкая Вислока быстро катится между песчаных берегов. Чтобы укрыться от аэропланов, мы дожидаемся в лесу. Война ворвалась сюда внезапно. Грохот орудий еще не успел разогнать ни птиц ни зверей. Везде — и в реке, и в траве, и на деревьях, и на горячем песке — бьет кипучая жизнь. Звонко кукует весенняя кукушка. Сидят, нахохлившись, на ветвях большие сивоворонки. Две сойки ведут отчаянный бой с назойливой вороной. Реют пестрые бабочки. Стрелою мечутся сероватые рыбки в холодной воде. Из густого кустарника выскочила белогрудая лисица и мелькнула желтым хвостом. Все охвачено напряжением. Только на лицах людей какая-то мрачная усталость. Нервы издерганы. Армию утомили, замучили эти бесцельные переброски. Мотанье с места на место без плана, без смысла.

У переправы весь корпус. Каждая пядь земли здесь густо забита артиллерией, пехотой и кавалерией. Войска стоят вперемежку: тяжелые орудия вместе с пехотой, госпиталями, обозами, парками и понтонами. Командиры парков исхлопотали разрешение укрыть зарядные ящики в лесу. Четыре парковые бригады —

12 парков — сгрудились в небольшой лесистой ограде в ожидании очереди. Все рвутся перейти через мост, чтобы убраться из полосы обстрела. Орудия безунимно грохочут. Аэропланы кружатся и гудят, как назойливые шмели. Сейчас мы наблюдаем их из укромного уголка. Наблюдаем с каким-то хищным любопытством. Германские альбатросы, когда летят высоко, поразительно похожи на птиц. Крылья и хвост окрашены в сероватую краску, а тело ярко белеет. На такой высоте их можно принять за аистов. Но эти аисты беспрерывно швыряют бомбы. Из нашего лесного убежища мы видим густые, черные, дымные столбы и слышим грохот зенитных[1] пушек. На этот раз дежурные орудия стреляют довольно метко. Шрапнели рвутся у носа аэропланов. Небо усеяно пушистыми дымками. Но аэропланы, как ни в чем не бывало, кружатся над переправой. Крылья у всех приподняты кверху. Это значит, что они нагружены бомбами и сбросят их сегодня немало. Грозные воздушные хищники внушают неимоверную ненависть и тревогу.

— Вот подбить бы его, мерзавца, — яростно шипит Базунов, — поймать и повесить пять раз

---

[1] Пушки, направленные дулом кверху, для обстрела аэропланов.

или зажарить на медленном огне! Знал бы он, как бомбы бросать...

Сейчас у всех на душе какое-то откровенное облегчение от сознания, что сегодня мы вне обстрела. С кровожадной заинтересованностью наблюдаешь эту борьбу между землей и небом из защищенного места. И эта подлая радость защищенного зрителя еще крепче подчеркивает каждому, до чего остра и мучительна ежедневная жуть, с которой шагаешь под рвущимися бомбами и прислушиваешься к вою шрапнелей, сыплющихся сверху и ведущих к неменьшим жертвам, чем вражеские аэропланы.

— Ох, прямо извели аэропланы, — жалуется солдат. — Днем всем здоров, а ночью спать не могу. Пулемета не боюсь. Против пулемета в атаку ходил. А как загудит вверху — всю ночь потом маюсь. По 30 штук за день над нами летают.

— Бомбы, что ли, боишься?

— Не от бомбы страшно, — ероплана боюсь. И во сне еропланы вижу.

Другие еще безнадежнее выражают свою растерянность и тоскливые думы:

— Тоска, ваше благородие. Под грудями болит, давит. Всего тебя жмет, простору нет. По телу словно бы вся эта передвижка идет. От головы до низу переливается, стискивает, ровно бой по телу идет.

— По дому скучаешь?

— Нет, я об семье не забочусь. Потому, я у отца живу. Только так — никакой радости нет... Намаешься зà день, ляжешь в десятом часу, — не спится. Все тоска грызет. Про непорядки наши все думаешь...

Тяжелое уныние закралось в душу солдата. Не страх, а печальное раздумье. Аэропланы, осадные орудия, немецкие хитрости и глупая бестолочь начальства поразили армию мертвящей апатией. Конечно, всех больше задергана пехота. С мучительной болью в глазах жалуется мне, сидя на пне и прижавшись щекой к винтовке, солдат стрелкового батальона:

— Нет во мне ни страху ни радости. Мертвый я будто. Ходят люди, поют, кричат. А у меня душа ровно ссохшись. Оторвало меня от людей, от всего отшибло. И не надо мне ни жены, ни детей, ни дому, — в роде как слова такие забыл. Ни смерти не жду ни бою не боюсь...

— С чего же это с тобой приключилось?

Солдат долго молчит. Он смотрит на меня пустыми, холодными глазами и крепко стискивает винтовку:

— Обмокла кровью душа... И пошли думки разные... И допреж такое думалось, да знал я, что ввек на такое не пойду... А теперь нет во мне добра к людям...

... Опять пески, бревенчатые накаты, шоссейные ленты. С раннего утра до полудня, как бессловесные фигурки в игре китайских теней, проходят мимо нас понтонеры, саперы, пехотинцы — десятки тысяч людей с тоскливой жаждой в глазах: скорей бы... И в полдень мы, наконец, добрались до Сана. Перед нами в ложбине давно знакомый холмистый город Н и с к о.

Воспоминания бродят среди развалин. Отчетливо обнажаются в памяти темные осенние ночи. Безостановочные скитания по непролазным трущобам. Люди, обмокшие дождями и грязью. И вдруг, как сонный мираж, живые огни уютного городка. Мелькнули и опять потонули в болотной пучине.

Помню взятие Ниско, такое смелое и разбойное. Полковнику Нечвалодову было приказано: взять Ниско какой угодно ценой. Без инструкций и указаний на этот счет Нечвалодов потребовал в свое распоряжение 6 батальонов пехоты. Снабдил каждого солдата пропитанной керосином соломой и велел выбросить все патроны — во избежание выстрелов и паники. Солдатам понравилась затея. Темной ночью они подкрались к Ниско, обложили и подожгли город с разных сторон. Австрийские солдаты и офицеры, пораженные неожиданностью, выскакивали из домов в одном белье, и почти без сопротивления были переколоты. Город достался Нечвало-

дову без потерь. За ночь Нечвалодов окопался. На него обрушились 4 полка. Но наши солдаты на за что не хотели отдать Ниско. Они оказали бешеное сопротивление, дрались целые сутки, потеряли 400 человек и завершили свою победу жестоким, бессмысленным погромом.

Помню клубы едкой, вонючей гари и мокрого маслянистого дыма. Помню то злорадное торжество, с которым совершенно трезвые люди дробили скулы и черепа, разбивали вдребезги окна, чашки, буфеты и тихие, чистенькие домики превращали в грязные стойла и обожженные гробы. За что?.. За то, что мирно горели огни в этих маленьких домиках? За то, что на дверях этих домиков были буквы, написанные на другом языке?.. Буханье пушек начинило нас взрывчатой ненавистью ко всем, кого судьба не бросала под ливни и погребальные костры, кого не носило ураганом по полям и дорогам смерти...

И вот мы снова пришли сюда, опоясанные длинными гирляндами убитых, разграбленных, замученных, оплеванных и обездоленных людей. Городок почти выгорел до тла. Торчат одни обожженные трубы. Пусто. Жителей не видать. Лишь кое-где они торопливо несут в погреба свои пожитки, а сами уходят в лес.

— Опять втекáть, — равнодушно смотрит Зубков.

Равнодушны и мы. Там, за нами, в Галиции десятки таких же Ниско. Десятки тысяч вдребезги расколоченных домов, «шпионов», буфетов, заложников и детских колясок. Столетия человеческого труда, превращенного в сплющенные куски железа и обгорелого дерева... «Обмокла кровью душа, и нет теперь добра к людям», как сказал вчерашний стрелок.

СДАЧА БРЕСТА

ИЮЛЬ, 1915 г.

... Второй день стоим у самых позиций. Сюда являются люди непосредственно из огня. Больше всего — солдаты терско-кубанской дивизии, которую бросили в прорыв. Они чувствуют себя крайне обиженными.

— Это ничего, что нашей дивизией прорыв заткнули, — заявляют они. — Только зачем нас спéшили и послали в бой без штыков?

Поминутно являются за снарядами из разных частей. Но снарядов нет. В головном эшелоне собрался весь резерв 70-й бригады. На позициях одни передки остались. Приходится каждому объяснять, что снарядов нет ни в среднем ни в тыловом парке, и рассчитывать на скорое пополнение никак невозможно.

Примчались и терцы, разгоряченные, с блуждающими глазами, и кричат диким голосом:

— Га!.. Давай патроны!

— Нету.

— Что такое? — вращают они свирепо белками. — Мы прорыв затыкали, а вы не даете. Вы будете письменные сношения делать?.. Давай патроны!..

Приходится открывать двуколки. И только убедившись собственными глазами, что в ящиках пусто, терцы со свистом и гиканьем несутся дальше и орут на-скаку страшным голосом:

— Где патроны? Давай патроны!.. Мы прорыв затыкали...

... — Літо іде. Саме добре на світі жити, а ми... Эх! — вздыхает Коновалов, седлая лошадей.

— Обовшивели из-за беженцев этих, — угрюмо скрипит Ханов. — Рубаха сама с плеч ползет.

— Слушай, пан, — продолжает убеждать хозяина санитар, — отдавай по рублю... Все равно заберут...

— Галицию про... моргали! — кричит исступленно «пан», — а теперь хотите нас разорить. Не продадим ничего!.. Нам за австрийцами лучше будет...

По деревне уже шныряют казаки. Через два часа предписано жителям двинуться вслед за нами. Горят подожженные скирды, и глаза слезятся от дыма. В воздухе, пропитанном

гарью, носятся брань, рыдания и бабьи стоны. Какой-то крестьянин с решительным и смелым лицом громко кричит на всю деревню:

— Не хотите нас тут держать, так мы поедем под самые позиции: пускай нас там перебьют.

— На коней! — командует Кириченко.

... По небу бегают призрачные пальцы прожектора и таинственно шарят в потемках. В загадочном молчании синеватых далей призрачно рисуется Холм, мерцая крестами собора. Разбрасывая снопы голубоватого света, прожектор нащупывает в облаках цеппелин, металлическое гудение которого твердым певучим храпом разносится по полям. Таинственно бегающие пальцы и стрекотание незримого цеппелина наполняют небо жуткой тревогой. Ко мне подъезжает Кириченко и, наклонившись к моему уху, говорит:

— Знаете, какая самая тяжелая из повинностей на войне?

— Быть мародером, — отвечаю я ему.

— Верно, задави его гвоздь...

... Крадучись, шмыгнула в палатку моя приятельница румяная Янина, как всегда веселая, жадная, и юркнула ко мне в постель. Не сму-

щайтесь, скромные читательницы. Румяной Яни только четыре года. Сладко прожевывая конфетку, она сообщила мне, что на дороге «дуже войска» и что едут «гарматы» (пушки). Я позвал Коновалова.

— Что это за движение?

— Хто его знает. С утра идуть да идуть. Конца краю не выдно.

— Куда идут?

— На Влодаву.

Я оделся и вышел на дорогу. Обращаюсь к командиру саперной полуроты.

— В чем дело?

— Отходим на новые позиции.

— Куда?

— Не знаю. Верст на пять, говорят.

— Корпус или армия?

— Вся армия. Подалась в центре и слева. Неизвестно, что с правым флангом.

По всему влодавскому тракту и по польским (проселочным) дорогам тянутся обозы, парки и кавалерия. Какой-то обозный капитан обращается ко мне с растерянной жалобой:

— Приказано произвести реквизицию хлеба, а средств нет. Молотилок нет, людей нет, хлеб отсырел. Придется снова палить.

— А где палили?

— Везде. Вон дым этот видите? Это от хлеба. Пожгли весь хлеб в Верховине, и в Депуль-

тычах Русских, в Депультычах Королевских — вплоть до Райовца. Теперь под Холмом жжем. В Угре.

В воздухе носились обгорелые соломинки и ложились копотью на лица и платье.

— Вот она, война-то! — печально вздохнул капитан. — В газетах все такие заманчивые слова: отходим, уводим, беженцы, бегущие от германцев... А оно вот какого цвета!.. Посадил бы я этих газетных туристов в эту кашу: пускай сами понюхают, чем беженцы пахнут...

... У какого-то великодушного прапорщика выпросил два номера «Русского Слова» — за 9 и 10 июля. Не знаю, вся ли честная жизнь приостановилась внутри страны или только печать докатилась до такого молчалинства и с радостью провозглашает квартального Козьмой-бессребренником, а обер-прокурора святейшего синода неподкупным Робеспьером?..

... Часов в 12 кончилось движение войска и потянулись «погòньцы». (Погàнцы — называют их штабные остроумцы.) Бесконечно длинная лента крытых парусиновым полусводом фургонов, битком набитых подойниками, сундуками, мешками, кабанами, детьми, поросятами, телятами, ведрами, птицей, клопами,

блохами, вшами и прочим одушевленным и неодушевленным мужичьим скарбом. Тощие лошадки еле плетутся по непросохшим дорогам. Хватаясь за колеса, кряхтя и подталкивая, им помогают выбивающиеся из сил подростки и бабы. Пятилетние детишки борются с упрямыми коровами и хриплыми голосками отчаянно взывают в пространство:

— Мамо! давай плетку! Нейдет!..

Седобородые мужики и дряхлые старухи с трудом волочатся за фургоном и, низко кланяясь, повторяют с убитым видом:

— Слава Иисусу...

— Нех бендзе похваленный...

— Откуда?

— Из Верховин, из Депультыче...

— Отчего уходите?

— Все попалили, геть чисто все.

— Снарядами?

— Не. Наши солдаты.

— Куда идете?

— Не знаю... Прямо, как глупóй. Сгiнем, все чисто сгiнем.

Бабы, рыдая, предлагают купить у них коров. Мужики продают лошадей, телегу, птицу, свиней. Детишки выпрашивают милостыню с надоедливо-плаксивым припевом:

— Я бедный...

— Не пора ли нам, пора —
То, что делали вчера...

ворчит Базунов, садясь в бричку. И мы вливаемся в отступающие части.

За переселенцами снова потянулись войска. Уходит полевая почта. Движутся пехота, парки, транспорты. В воздухе появляются аэропланы — то неприятельские то наши. Рвутся с визгом шрапнели дежурных пушек. Кругом пылают стога. Дымной шапкой повисла над полями удушливая гарь. Армия, искалеченная, надорванная, отступающая уже тонет в пестром море «погоньцев».

По всем полям и проселкам, по недотоптанным хлебам и большой влодавской дороге, гремя копытами, дребезжа колесами, ведрами, котелками, фыркая, хрюкая, мыча, ругаясь, катится огромная живая река, текущая слезами и горем.

Люди полей и деревень, покрытые грязью и копотью, запуганные, оборванные, плачущие, вытащили на показ всему миру нищету своих очагов. И на вольном воздухе, при свете яркого солнца, жалко и судорожно извивается раздавленная, вшивая Русь.

Все тот же кошмарный грохот и те же кошмарные картины и та же кошмарная мысль:

— Что же сделать, чтобы избавиться от повинности мародера?

*

А кругом фургоны, мешки, подойники, сундуки, корзины, подушки, из которых выглядывают поедаемые вшами детские личики вперемежку с длинными гусиными шеями, петухами и поросятами.

Без веры в будущее, с покорным отчаянием в душе плетутся бабы и мужики, плетутся тощие лошади. На длинных веревках слабыми детскими ручонками тащат шестилетние ребятишки упирающихся коров.

Вереница за вереницей бредут «погòньцы» из Заграды, Верховины, Угря, из Крупе, из Войславицы, из-под Замостья и Грубешова, изо всей разоренной Польши. И как эта дымная шапка над полями, повис над умирающей Польшей какой-то гнетущий рок и бросает ее несчастных, замордованных «хлòпов» под железные копыта войны.

Зачем? Во имя чего? Кому понадобились эти жертвы? Какой необходимостью вызваны эти процессии вшивых?

... Час ночи. Далеко к востоку от Савина пылают пожары. Пахнет гарью. Значит, придется двигаться дальше. Пока ночуем в лесу, так как все деревни забиты отступающими частями.

... На рассвете из штаба корпуса получено срочное предписание:

«Рано утром перейти промежуточному парку в Мацошин — Оссово, тыловому — в Оконинку, к югу от Влодавы. Питание — во Влодаве. Штаб корпуса сейчас переходит в Савин».

... На синих тучах горит розоватый налет. Идет непрерывное движение. Армия беспомощно барахтается в грудах пестрого человеческого тряпья. Воздух наполнен проклятиями России. В усталых, измученных глазах горит нескрываемая ненависть.

Как-то совсем незаметно вся армия начинает уподобляться «погòньцам», усваивает их странный таборный облик. Чтобы не бросать скота и птицы, раздаваемых беженцами за гроши и бесплатно, уходящие части увозят с собою поросят, гусей, телят и коров. В каждом солдате просыпается хозяйская жадность. Вот тянется 139-й пехотный полк. Двое суток простоял он в резерве. И теперь у каждого солдата под мышкой гусь или курица или цесарка. В Райовце сожгли огромное имение, славившееся на всю Европу племенными питомниками. Кроме коров здесь разводили белых свиней, известных под именем русские иоркширы. Эти свиньи пользовались таким же уходом, как великокня-

жеские дети. При них состояли специальные свиноводы, одетые во все белое, подобно придворным камергерам. По пять раз на день они чистили своих питомцев особыми щетками, так как малейшая соринка на теле вызывала у этих четвероногих аристократов усиленный зуд. В другом месте, на фольварке Хилины, была колоссальная молочная ферма. При спешном отступлении всю эту племенную живность пришлось побросать на произвол судьбы. Солдаты хватали все, что возможно. Вот грузовой автомобиль, на котором среди резиновых шин и ломаных велосипедов возвышается рябая корова с монументальными рогами и белым шароподобным выменем. Вот на понтонной лодке большая деревянная клетка, из которой беспрерывно высовываются гибкие гусиные шеи. Вот на зарядном ящике теленок. Вот несколько патронных двуколок, нагруженных жирными поросятами. На многих артиллерийских возах уселись бабы с детьми, седобородые старики, даже барышни в шляпках. Бурно вздувающиеся волны беженцев захлестывают всю армию и подчиняют, растворяют ее в себе. Даже на гигантском пыхтящем тракторе, от которого в паническом ужасе отскакивают лошади, примостились бегущие обыватели.

А густые колонны «погóньцов» все растут и растут. Со всех проселочных дорог приливают

все новые фургоны. Литое влодавское шоссе гудит стоголосым гулом, за которым не слышно ни жужокания аэропланов ни грохота пушек.

Отойдя от дороги и сидя верхом на лошади, я наблюдаю этот клокочущий поток. На десятки верст в длину и ширину, назад и вперед колышутся и переливаются цветные пятна бабьих платков и сарафанов, мужичьих свиток, солдатских шинелей, пестрых коров и лошадей. От этих переливающихся пятен несется ровный, скрипучий, неумолкающий каменный скрежет, раздираемый резкими выкриками автомобилей и грозными окриками солдат:

— В сторону! Вправо! Сворачивай!..

Беженцам нельзя останавливаться ни на минуту: сегодня же к вечеру они должны быть все за Влодавой. Казаки подгоняют их плетью. Мужики, не имеющие возов, погрузили на самодельные тачки свой тощий скарб, впряглись в них вместе с детьми и мучительно надрываются под тяжестью непосильного груза, под июльским солнцем и под страхом казачьей плетки. Вот старик, дряхлый, трясущийся, развинченный. Он без шапки. Изжелта-белые, истлевшие волосы разметались липкими прядями. Глаза безумно-испуганные, бессмысленные. Он ухватился обеими руками за веревку, привязанную к коровьей ноге, и, согнувшись, ковыляет за толпой. Ему 90 лет — николаевский солдат—

он третий месяц в дороге. Вот другой старик, улучивший минуту для передышки: он упал на колени и, сложив молитвенно руки, шевелит помертвевшими губами.

— Чего ты просишь у неба? — спрашивает его адъютант.

— Смерти, — отвечает старик.

Вот на возу мертвая баба. С ней рядом корчится в холерине другая, тоже умирающая. По лицу мужика, погоняющего костлявую лошадь, бегут слезы. Двое детишек смотрят обезумевшими глазами на окостеневшую мать, безжизненно вытянутая рука которой бьется о край повозки.

— Ты бы похоронил покойницу, — советует адъютант, — детей жалко.

Мужик безнадежно махнул рукою: останавливаться не позволяют.

Иногда, рассекая толпу, проносятся парные экипажи с солдатом на козлах. В экипажах сидят молодые девушки, веселые, наглые и задорные.

— Эти войны не боятся, — говорят кругом и солдаты и беженцы. — Этих война кормит и обувает. И еще после войны останется.

Их профессию отгадать нетрудно. Но как они попали в этот страшный водоворот? Отчего мчатся в военном экипаже с солдатом на козлах?.. Об этом, впрочем, тоже нетрудно догадаться.

Люди осведомленные передают, что при одном из привилегированных кавалерийских полков (не помню — драгунском или гусарском) имеется свой постоянный походный притончик, состоящий из матери (бывшей польской помещицы), двух дочерей и француженки-гувернантки. Его услугами пользуются только штаб-офицеры, а удостоенные этой чести избранницы находятся под неусыпным наблюдением врача-специалиста.

Из рядов «погòньцев» все чаще вылетают злобные крики и проклятия. Близится вечер.

Вечером все они, как саранча, осядут на чужих полях и, как саранча, сожрут и истребят все, что встретится на пути.

... До Влодавы 25 верст. Но лошади кормлены, люди сыты, погода хорошая. Что еще требуется для хорошего настроения? Не вечно же думать о беженцах, аэропланах и пушках. У адъютанта нарыв на ноге, и он едет в бричке, куда насажал к себе кучу детишек.

— Еще прибросят, — пугают его солдаты.

— И отлично. Веселей будет воевать.

— Ви би, ваше благородиэ, — советует Шкира, — вон цю, баришню до себе посадили. Дуже гарна паненка.

Денщики смеются.

— Шкира вже влюбився.

— Он и в Савине, — говорит Юрецкий, — успел. Какая-то девка даже провожать его вышла.

— Правда это, Шкира? — любопытствует адъютант.

Шкира свободно объясняется и по-украински и по-русски. Но почему-то шутит он и «жартует» по-украински, а петь и философствовать предпочитает по-русски.

— Так точно, — улыбается Шкира. — Питаэ: нȁ що ви так скоро уходите? Тільки пришли тай вже на кȍней сідаэте. А я ій кажу:

— Одному охвицеру не понравилось, як ви собі чуби стріжете.

— Так вона сміэться.

— Із-за одного охвицера стільки дівчат губить — хіба ж це можно?

— Можно, — кажу я: — із-за одного Вільгельма хлопців ще більше загубили...

Разговор неожиданно обрывается. Лица напряженно вытягиваются, подымаются кверху, где плавно парит над головами огромный аэроплан.

— Аэрȍплян, аэрȍплян! — несется тревожным криком от воза к возу, и беженцы начинают испуганно метаться. Матери скликают детей. Старики крестятся. Бабы и девки отбегают

от большой дороги в сторону. Мужики усердно работают кнутами, безжалостно полосуя лошадей. Аэроплан быстро направляется к нам, потом вдруг затихает на месте и медленно поворачивает вдоль леса.

— Позиции изучает, — решают солдаты, и все мигом успокаиваются.

Движемся медленно: по три версты в час. Обывательские лошади еле плетутся. Бабы плачут:

— Лучше бы нас прямо под позиции погнали и сразу убили.

Слезаю с лошади и, наметив крошечного добровольца, вступаю с ним в беседу.

— Ты какой части?

Мальчик подозрительно косится на меня, и неохотно отвечает:

— Еще никакой. Иду с слабосильной командой к коменданту.

— Откуда?

— Из Москвы.

— А родители твои где?

— У меня родителей нет. Кабы родители были — не пошел бы. Я сирота.

— Знаю. Все вы так говорите, чтобы скорее приняли в полк.

— Я правду говорю.

— Грамотный?

— Так точно.

— Где учился?

— В Петрограде.

— А в Москве что делал?

— Служил в лавке.

— Надоело, значит? Захотелось побродяжить? Тебе сколько лет?

— Четырнадцать... будет.

— Через сколько лет?

— Не лет. Через... четыре месяца.

— Что же, тебе хочется ко дню рождения Георгия заслужить?

— Я еще зимой во Львове был.

— Ну и что же?

— Назад отослали в Москву.

— И отсюда отошлют.

— Все равно, я до позиции доберусь!

— Что ж ты там делать будешь, на позиции?

— Патроны подавать. В команду разведчиков попрошусь.

— А в разведчиках что делать будешь?

— Что прикажут, то сделаю.

— И немцев колоть будешь?

— Конечно. Еще как!

— Да ведь у тебя силы не хватит.

— В винтовке десять фунтов. Десять фунтов не подыму?

— В винтовке — десять, да в солдате немецком пять пудов.

— Что ж такое! Мне только кольнуть и вынуть. А он уж сам упадет. Мне его толкать на надо.

— Ты, значит, все уже обдумал: и куда колоть и как убить. А о том, что жалко людей убивать, ты не думал?

— Нет, мне не жалко.

— Ты такой кровожадный?

— Когда к вам в дом грабители придут, станете вы о жалости думать? Родину защищать надо! — отчеканил он сурово и строго.

— Разве без тебя защитников мало? Видишь, сколько солдат кругом.

— А новый набор зачем делают? Значит, мало!

— Так ты погоди: когда позовут тебя — пойдешь. А теперь от тебя на позиции одна помеха. Тебя и в дороге раздавить могут. И устанешь ты и вшами покроешься. Заболеешь.

— Не заболею. Я, может, лучше другого солдата сделаю. Солдат струсит, а я не струшу.

— Вот видишь, ты еще на позиции не был, а уже хвастаешь и солдат бранишь.

— Я не браню. Я солдат люблю. Мне солдаты обещали ротного попросить, чтобы к ним в полк меня взяли.

— Как тебя зовут?

— Алексей.

— Фамилия?

— Косарев.

— Ноги не болят?

— Третьи сутки не отдыхал — не болят, — с гордостью заявил он и по-солдатски одернул книзу скатанную шинель.

— А может, все-таки посидишь на возу?

— Кабы другие солдаты на возах были... А раз они пешком — и я с ними.

И пошел скорым шагом вперед.

— Шустрый мальчонка, — заметил бородатый солдат, прислушивавшийся к нашему разговору.

— Кабы глупый, небось, сюда б не добрался,—сказал другой. И прибавил задумчиво:

— От самой Москвы... Значит, большая охота в ём... А может, как пули услышит, и пропадет охота...

— Не пропадет, — отозвался новый солдат.— У нас в полку пятеро таких: патроны носят. Как бой, в самый что ни на есть огонь своей охотой идут. Уж если захотелось ему — не удержишь...

... Поздно. Высоко светит луна. Подходим к Влодаве. Звонкое каменное шоссе, с обеих сторон обсаженное столетними липами, превращено в сплошную зеленую аллею. Справа и слева от аллеи — широкие луга, над которыми, как живой, колышется беловатый туман, проре-

занный полосами лунного света, искрами далеких влодавских огоньков и полыханием желтых костров. В темноте поминутно вспыхивают снопы жемчужного света. Вырастая в блестящие, ярко раскаленные круги, они вдруг наполняют воздух страшным ревом и, как сказочные чудовища, проносятся мимо испуганных лошадей. Это краснокрестные автомобили отвозят на станцию раненых.

На станции ни клочка свободного места. На путях, в амбарах, в пакгаузах, на крышах вагонов — везде спят солдаты. Пришлось забраться в поезд со снарядами, где нашелся пустой вагон.

— Надо бы хоть лестницу приставить, — предлагает Костров.

— Зачем? Если завтра утром аэроплан сбросит бомбу, все равно от нас следа не останется.

... Живем в лесу у влодавского вокзала. Наши палатки разбиты рядом с беженским табором. У нас ни столов ни стульев. Сидим на земле. Обедаем полулежа. По утрам снимаем друг с друга вшей.

— Это несчастие, — ворчит Базунов. — Они уже просочились в самую армию... Скоро мы будем отрезаны ими от всего мира и задохнемся от вони.

— Вот уж действительно г... Польша, — с презрением говорит Старосельский. — Даю сто рублей тому, кто найдет теперь полтора аршина в лесу, на загаженных беженцами.

— Взять бы их всех и загнать в Вислу, — горячится Евгений Николаевич. — Ведь они все равно пропадут. Через неделю подохнет корова, через две недели — конь, а потом и сам пан с детишками. Их только для того и гонят, чтобы они прошли 400 верст и протянули с голоду ноги.

— Это какие-то средние века, — возмущается адъютант. — Хуже крепостного права.

— В крепостные времена ничего такого не было, — говорит Болконский. — Были, скажем, пожалованные души, податные, купленные. Всех их прикрепляли к земле, к оседлому быту. А тут берут целый народ, выгоняют из сел и деревень и наполняют ими возы и кибитки, как ненужным навозом. Да еще требуют: живите на возах без земли, без хлеба, без всяких средств к существованию... В самые варварские времена ничего подобного не было. Нечто совсем новое, единственное в своем роде... Мавринское...

— Опыт принудительного перехода от оседлого образа жизни к доисторическому кочевому— говорит, лениво позевывая, прапорщик Кузнецов.

— Да, — усмехается Базунов. — Как в армии производится теперь устройство принудительных пикников. Чем не пикник? Сидим на травке. Обедаем на травке. И скоро спать будем на травке. А что еще дальше будет, когда мы пойдем вперед по этим выжженным местам! — Кругом ни одной щепки ни одной души не осталось. Ой-ой-ой!.. Что вы на это скажете, господин оптимист? — обращается он к Кострову.

— Мы собственно еще ничего не видим, — слабо оправдывается Валентин Михайлович.

— Но зато слышим, — шутливо подхватывает прапорщик Левицкий. — Шесть месяцев тому назад мы слышали кругом только польскую речь. Потом заговорили по-польски и порусински. Теперь все больше по-хохлацки. А скоро, я думаю, мы услышим чистый великорусский говор... Тульской губернии...

Из-за деревьев неожиданно появляется ординарец Ковкин с донесением, что в местном парке получены для корпуса 2000 шрапнелей.

— Браво! — торжествует Костров. — Вот и снарядов дождались! Я говорил! Попрем теперь Макензена.

— Чему вы радуетесь? — удивленно пожимает плечами Левицкий. — 2000 шрапнелей на корпус. В прошлом году в августе месяце наша бригада по 7—8 тысяч в д е н ь расходовала.

Одна бригада! Это, я понимаю, огонь!.. Снарядов, батенька, нет.

— Как нет? — горячится Костров. — Две тыщи шрапнелей. Это не фунт мыла. А потом еще подвезут. Вот уже дают нам снаряды 12-секундного горения. Это ж какие снаряды? Японские! Ага!

— Кабы были у нас снаряды, — говорит Евгений Николаевич, — нас не стали бы эшелонировать таким образом. Растянули две бригады на 40 верст. Это значит: что подвезут — валяй без задержки на позиции.

— Да вы послушайте раненых, — говорит адъютант, — пехота превосходно работает, а артиллерия не стреляет...

Темнеет.

Долго лежу на бурке без желаний, без мыслей.

Густая тьма окутывает землю. Только ярко пылают огни костров и прорезывают темноту слова далекой песни:

По полю, полю вольному...
Стучат цепы дубовые,
Стоят столы тесовые,
В сырую землю врытые...
В сырую землю врытые,
Зеленой елью крытые...

АВГУСТ, 1915 г.

... Ночуем в Пищаце. Поздно ночью услыхал я нервный и торопливый говор. Слышались женские крики и голоса, звучавшие томительным страхом. Я вышел за околицу. Было темно. Скрипели подводы, за которыми поспешно шли какие-то странные фигуры.

— Кто такие?

— Евреи.

— Откуда вы?

— Выселяют из Пищаца.

Они шли почти бегом, поминутно окликая друг друга. Их тревожные окрики и суетливые движения полны были смертельной боязни.

— Почему вас выселяют ночью?

— А мы знаем? — с глубокой горечью отвечали из темноты голоса. — Кому-то надо ускорить нашу погибель...

Я стоял потрясенный и невольно втянутый в чужую судьбу. В стороне от дороги пылал огромный костер. Оттуда, как из бледного призрачного царства, неслась унылая тягучая песня:

Вы сог-ре-е-ей-тесь леса-а-а-ми-и дремучими,
Вы ом-ой-те-есь слеза-а-а-ми горючими,
Вы испейте кро-о-вь, кровь солдатскую,
Схорони-и-и-те в яму бра-а-а-тскую...

Я подошел к костру. В живописных позах лежали пленные австрийцы, охраняемые кучкой конвойных.

— Что это за обоз прошел? — обратился я к солдату.

— Хаимов погнали.

— Почему же ночью?

Солдат лениво цыркнул в костер и равнодушно ответил.

— Чтобы скорее память потеряли и немцу пересказывать не могли.

... Идет непрерывный бой.

— Ось як стреляють. Треба скоріш втікати,— говорят, нагружая свои возы, беженцы.

— Еге! Втічешь... А як же...

— Забирай, куме, стуло.

— Воно так: со двора все взяти хочеця, а тільки за ворота — й то бросишь.

Парк готовится к спешному выступлению. Предписание из штаба корпуса носит чрезвычайно тревожный характер:

«Глубокий прорыв у Межиречья. Спешно передвиньте парки 70-го, 3-го 18-го и 14-го мортирного — в Напле. По прибытии наведите точные справки о переправе через Западный Буг. Путь следования: Хотылов — Залесье — Вулька Добрынска — Напле. При следующем передвижении — район станции Жабинка. Перейти через Буг по мосту у Напле».

— Вот это здорово! — смеются офицеры. — Сразу на 60 верст маршрут.

... Гляжу на проходящую пехоту, и мне вспоминается Гаршин с его младенческим лепетом: «Четыре дня на поле сражения». Легкий идиллический ветерок, нежно обдувающий щетину солдатских подбородков. Всматриваюсь в эти стиснутые челюсти, обтянутые щеки и угрюмо горящие глаза. У всех одно выражение: глубокое презрение ко всему на свете и равнодушно-разбойная покорность:

— Вы хотите, чтобы я убивал? Я убиваю!..

Ждем переправы через Буг. Сейчас переправляются боевые части 4-й армии. Только на рассвете начнет переправляться наша армия — третья.

... Разбудил меня Коновалов в начале четвертого. Было темно, холодно. Мерцали звезды. Ровно в половине четвертого мы двинулись. Над нами ярко горела Венера. Мы ехали вдоль крепостной извилины Буга. Стоял сплошной белый туман, в котором смутно маячили, как призраки северной легенды, густые леса. Жутко побрякивали цепями зарядные ящики и где-то таинственно плескался внизу невидимый Буг. Смелая декорация для Метерлинка.

Дорог нет. На карте все умышленно перепутано, чтобы не дать противнику ориентироваться в районе крепостных укреплений.

В шесть без четверти выплыло огненное солнце, и туман приподнялся кверху, как театральная кисея. Сразу обнаружились перед нами форты, люнеты, заграждения, рвы, окопы и крепостные постройки. Мы долго вертелись среди лабиринта тропинок и шоссейных поверток и только к 7 часам выбрались на дорогу — к Мощонке.

... Всюду кипит работа: копают, возят, строят. Зловещее впечатление оставляют версты колючей проволоки, прикрывающей волчьи ямы, на дне которых, как огромные острые клыки, торчат деревянные колья. Я вспомнил рассказы о германцах, бросающих друг друга на эти острые колья и идущих вперед по телам своих собственных солдат. Сказки? Но в этих сказках мелькают такие знакомые черты войны! Разве мы сами не шагаем по телам искалеченных «погоньцев»?..

Издали крепость кажется могучей и неприступной. Но издали вся наша армия кажется могучей.

... В 8 часов подошли к домику лесника, в полуверсте от Мощонки. В домике пусто. Мы высадили раму, забрались внутрь, отперли входные двери и расположились на отдых. Вокруг сторожки на траве валялись тысячи

пехотинцев: этапные полуроты, рабочие команды, обозные транспорты, сторожевая охрана. Обычные серые, равнодушные лица, ведущие обычные серые разговоры:

— Ну и блоху поймал я в своей шинели. Это, йордань-мордань, не блоха! Как конь все равно.

— Мужика никто не жалеет, — говорит, позевывая, другой, — и блохе кровью мужик плати...

— Кто такие? — обращаются к пехотинцам наши офицеры.

— Гвардейского корпуса пополнение.

— Куда идете?

— Не могу знать. Куда ведут, туда идем.

На серых лицах равнодушная скука.

— А откуда идете — знаешь?

— Не могу знать.

— Почему ты идешь, ты знаешь? — раздраженно пристают офицеры.

Солдат автоматически прикладывает руку к козырьку и с тем же апатичным видом отвечает:

— Не могу знать.

— Ну, конечно. О чем их спрашивать? Это же идиоты! — кричит Старосельский. — Ротную кухню он знает. Где курицу стянуть — знает. Поросенка украсть умеет. Больше ничего.

— И умирать умеет, — вставляю я.

Мы разговариваем громко. Я ловлю на себе несколько оживленных взглядов, и меня охватывает горячее желание узнать, о чем думает вся эта «корявая» масса. Вдруг замечаю у некоторых солдат под шинелью свежие газеты. Я обращаюсь к одному из них:

— За которое число?

— За второе августа.

— Какие газеты?

— «Новое время» и «Русское слово».

— Эх, почитать охота, — говорю я неопределенно.

Солдат посмотрел на меня и, добродушно окая, протянул мне обе газеты:

— Что ж? За доброе могу подарить одну.

— Нет, спасибо. Ведь вам самим почитать хочется?

— Так точно. Как в красный день пить хóцца, так солдата газетку почитать тянет. Отрезаны ведь мы ото всего света. Ничаго не знаем.

— Я только о войне прочитаю, — сказал я, разворачивая «Русское слово».

— О войне что читать? Про войну сами знаем. Вот тут «Новое время» больно хорошо про Думу написало.

— Где это?

Солдат развернул «Новое время» и указал мне на речь Чхенкели в Государственной думе.

Я стал читать.

— Ваше благородие! Ты бы вслух это место робятам нашим прочитал. Хо-ро-шо написано!

Среди колючей проволоки и волчьих ям, взобравшись на чью-то бричку, я громко читал речь Чхенкели, и слушатели в серых шинелях в накидку жадно ловили каждое слово. Многие встали и окружили меня плотным кольцом. Лица возбужденно горели. Какой-то обозный гвардейский офицер пробрался сквозь солдатскую толщу и спросил встревоженным голосом:

— Что вы читаете?

— «Новое время», — ответил я, улыбаясь, и показал ему номер газеты.

— А! — небрежно махнул он рукой и отошел.

Когда я окончил, кругом послышались возбужденные возгласы:

— Правильно!.. Только шушукаются.

— Пора кончать!

— Повоевали и будя!

— Хорошего ничего не выйдет... Немца не одолеть.

— Куда нам? Только зря людей убиваем.

— А энтого верно повесят, что правду сказал? — обратился ко мне с серьезным видом обладатель газеты.

— За что его вешать? Депутатам все говорить разрешается... по закону.

— Разрешается, а потихоньку повесят. У нас за правду не очень-то, — с убеждением произнес солдат.

Солдаты медленно разбрелись.

— Погоди, дай войну кончить, — цедили сквозь зубы многие, проходя мимо брички.

И на лицах опять застыло безразличное выражение.

Такова война.

Это было 5 августа 1915 года на крепостной территории Брест-Литовска.

Угрюмо высились форты, люнеты, казематы и насыпи. Свирепо щетинились заплетенные колючей проволокой железные изгороди и лесные засеки. Жадно разевали страшные пасти завалы, рвы и зубастые волчьи ямы... И тут же старая потаскуха Суворин [1] в роли потатчика революции. Чего не придумает лукавая старушка истории...

Мысли с ветром носятся —
Ветра не догнать...

... Базунов мрачно резонерствует.

— Да бросьте, Евгений Николаевич, — просит Костров. — Хоть за обедом поживите расти-

---

[1] Увертливый редактор - издатель «Нового времени».

тельной жизнью. А то у вас печень вспухнет от вечной критики.

Но Базунов, как выражается Болконский, дошел уже до проволочных заграждений пессимизма и с озлоблением продолжает:

— Я уверен, что посадят нас в казематы! И будем мы жрать конину. Жалко, что вы вашего рябого жеребца променяли. Вот бы когда пригодился, — обращается он ко мне.

— Ничего, — утешаю я его. — У Болконского кобыла жерёбая: скоро должна родить.

— Вам смешно, — угрюмо отшучивается Базунов. — Хорошо, если немцы действительно придумали, как говорят, какую-то ускоренную осаду. А если нет?...

— Может, еще никакой осады не будет? — оптимистически отмахивается Костров. — Снаряды теперь есть. Подтянемся и ударим!.. Вот увидите: попрем теперь немцев.

— Снарядов сколько угодно, — желчно передразнивает его Базунов. — И прежде были. А Ивангород сдали оттого, что в неудобном месте стоит. Варшаву сдали оттого, что дома в ней старые. Галицию отдали оттого, что надоело сидеть на чужой земле.

— Галиция еще не вся, — запальчиво огрызается Костров. — На Днестре нас сдвинуть никак не могут...

— Конечно, не вся, — смеется Левицкий,— остались еще Броды и генерал-губернатор Бобринский.

— Нет, я очень хочу, чтобы нас засадили в каземат! — вспыхивает Базунов. — Увидим, что останется от вашего оптимизма через полчаса, когда вас начнут долбить по голове шестнадцатидюймовыми: тук! тук! тук!..

— Хорошо бы к нему за компанию и членов Государственной думы, задави его гвоздь, — говорит Кириченко.

— Даже очень хорошо бы, — подхватывает Базунов.

— Вот тогда бы мы их послушали, какие речи они нам скажут.

— Чорт их знает, — подзадаривает Кириченко, — думские поезда есть, думские санитарные отряды есть, думские питательные пункты есть, отчего бы им не устроить думский легион, забодай их лягушка?..

— Вот-вот! — воодушевляется Базунов. — Посадить их в окопы, дать им по австрийской винтовке и по пяти патронов в сутки с приказанием «экономно расходовать патроны». — Ой как бы они запросили мира!.. Через пять минут — ручаюсь вам! — вынесли бы единогласную резолюцию:

«В виду того, что война оказывает гибельное действие на пищеварение думского прези-

диума, требовать ответственности министров и добиваться немедленного заключения мира».

— А я все-таки думаю, — благодушно заявляет Костров, смачно хрустя цыпленком, — думаю... что Бреста... им не отдадут... Не удастся им забрать Брест... Вот увидите!..

— По-нят-но не удастся, — ядовито тянет Базунов. — Тарнова взять не удалось. Перемышль не удалось. Львов не удалось. Варшаву не удалось. Ивангород не удалось. Люблин и Холм не удалось. Влодаву не удалось. Ничего им теперь не остается, как униженно просить мира. Может быть, это удастся.

— И это не удастся, — смеется Кириченко:— Гучков не захочет.

— Ну значит придется господину оптимисту своего иноходца сожрать.

— Что делать? — весело вздыхает Костров, прихлебывая из блюдечка. — Случится то, что случиться должно. Судьба!..

— Судьба! — раздражается Базунов. — Судьба — это слепая машина. Чик! — и готово. Какое судьбе дело, хочу я или не хочу воевать, оптимист я или пессимист? Хлопнуло тяжелым снарядом по башке — вот тебе и судьба! А потом напишут в газетах: пал смертью храбрых при геройской защите Брест-Литовска. Кой чорт мне в этой вонючей славе! Очень нужно! Вы вот оптимистов сажайте да тех,

которые кричат о победе — пускай они сидят в казематах, жрут конину и падают смертью храбрых.

— Я не отказываюсь, — обиженно говорит Костров.

— Не отказываетесь, а в отпуск проситесь.

... Весь день нервничают, тоскуют, ругаются и в сотый раз возвращаются к вопросу о казематах, конине и допотопных пушках, которыми защищаться нельзя...

... Евгений Николаевич поехал в штаб корпуса за какими-то разъяснениями. Вечереет. Мы бродим по полю. Накрапывает дождик. Земля сразу превратилась в болото, над которым виснет мглистый, гнилой туман.

— Брр... Не хочется в крепости оставаться, — говорит Левицкий.

— Знаете что? — предлагает Кириченко. — Давайте отрежем себе кончик уха, уедем в Киев и там заявим прокурору, что бежали из плена, где нас пытали.

— А Костров-таки улизнул, — говорит адъютант. — Выпросил отпуск у командира. Будет он потом на аэроплане пробираться в крепость.

... За ужином Базунов разносит штабное начальство.

— Кабак!.. Форты не готовы. Телефоны не действуют. А главное — вооружения нет. Едва только одна треть вооружена. Да и та — старыми пушками. Ведь крепость устроена как? К обложению не готовилась. Теперь наскоро устраивают форты на восток. Был только один форт, вынесенный на 18 верст. Приходится возводить второй ряд укреплений, но они еще не закончены. На этих укреплениях поставлены будут «штурмовые батареи». Это прежние медные пушки. Заряжаются старыми снарядами, которые, вероятно, и рваться уже не будут. Стреляют на близкое расстояние. Это значит — жди, пока неприятельские колонны полезут ча штурм...

— Как же они смотрят на исход обороны?

— По обыкновению: очень игриво. Храбрости — на словах — чорт знает сколько. Начальник штаба дивизии с гордостью заявил: не успели залезть в окопы, как уже шпиона австрийского поймали. И очень рад. А они, подлецы, нарочно подсылают своих, чтобы сбивать нас с толку. И как прут! По пятам за нами идут. Не успели занять окопы, а они уж извольте вам: появились! Понимаете, как несутся? Выяснилось, что в лоб лезут австрийцы. Их немного. Но везут с собой шестнадцатидюй-

мовки. А с боков чистые германцы. Чешут вперед, как оглашенные. Прут на автомобилях, на тракторах. Везут орудий до чорта. Хотят ударить с боков и с тыла.

— Как с тыла? А Ковно?

— Ковно больше трех дней не продержится. А Новогеоргиевск пал.

— Пал?

— Да они «бертами» своими как саданут, так форт пополам: как скорлупа, трескается.

— Какой же наш общий вывод?

— Общий вывод такой: нет у нас больше крепостей.

— А Осовец?

— Осовец что? К Осовцу орудий никак подвезти нельзя. А Брест — пустое место. От него после первого выстрела ничего не останется.

— Что же в конце концов решили?

— Ничего не решили. Наверху растерялись, и сами не знают, что делать. Сначала нас хотели направить походным порядком в Гомель. Потом назначили было всю дивизию в резерв. А теперь уж я и сам не пойму, как будет. Главное — все перегрызлись. Командир корпуса обиделся на начальника дивизии. Начальник дивизии, видите ли, вошел в непосредственные сношения с фронтом, минуя штаб корпуса. Комендант крепости свою сторону тянет.

— Да из-за чего грызня?

— Господи! Не понимаете?.. Каждый старается поскорее улизнуть из крепости, а делает вид, что горит патриотическим жаром и жаждет пасть смертью храбрых.

— Кто же теперь всем распоряжается?

— Комендант. Форменный идиот. Ни уха ни рыла не понимает. Горелова назначили командовать артиллерией всего сектора, потому что он генерал-майор. А командиры тяжелых дивизионов — капитаны и полковники. Одним слово — кабак.

— Что же будет?

— Думаю, что решено эвакуировать крепость. Такое у меня впечатление. На моих глазах погрузили два поезда девятидюймовыми снарядами.

Эвакуация Бреста — вопрос решенный. Ежедневно из Бреста уходят сотни поездов, груженых орудиями, снарядами, проволокой и интендантским добром. Паркам приказано забрать по миллиону ружейных патронов на бригаду.

Жители волнуются. Между бабами идут жаркие споры, уходить или оставаться? Вниманием владеет солидный хозяин, — высокий, крепкий, речистый. Говорит он на смешанном русско-украинском языке:

— Умни люди всегда казали: когда-когда Брест обольэтся кровью. Мой дід як вспоминал про военное положение, так у нього слёзы зараз к глазам. Кажуть: тім, що на войні, плохая жизнь. А нам що? Нам хуже. Тому, что на війні — що? Убьють? — убьють! А жив? — жив! Как то говориться: або грудь у крестах, або голова в кустах. А нам що? Хворòба, хворòба...[1] Коли вона кончиться — ця война?

— От-то враг какий сильный, — печально вздыхает другой. — Сколько в России пакости, пагубы сделает, совсем Россию погубит. Сколько людей остается? Маленькие да вдовы, а мужиков нет совсем.

— Ой, плохо, — жалостливо тянет баба. — Много побьет. Что напустит потери, потом не вернуть никак...

— Яб не уходила, щоб (если бы) нас не вигоняли, — заявляет бойкая бабенка.

— Думаешь, это австрийцы? — вмешивается витиеватый солдат. — Австрийские люди смирные, не угрожают нам никаких упреков, обращаются нежно. А германцы суровые, гордые. Они тебе покажут — остаться...

— Я не боюсь, — беспечно заявляет бойкая баба. — Мій чоловік (муж) до пруссов попался,

[1] Хворòба — болячка.

у плен. Він там як пташка живе, по германкам брушуэ (куралесит).

— А ты с германцами хочешь? — смеется солдат.

— Куди його іти? — уже с раздражением огрызается баба. — Разве там лучше будет? Сконпление народа. Пойдет плохой воздух. Заплюнется холера... Все помрут. А тут — як пуля натрапыт,[1] значит, такая судьба. У другой бабы — шесть душ детей, мелкие дети. Мужа забрали — куда ей? Ще як розвидная (разумная) баба, а глупой бабе куда деваться?

— Оце дурна баба, — вмешивается речистый мужик. — Що ж ти тут без имущества зробишь? Имущество спалять...

— Работать буду! — задорно говорит баба.

— Яка там робота? Намає світа перед собою, за тёмна ніч світ. А там-то я хоть спокійній душою — и головой. Зайду до хозяина, заработаю рубль на день и проживу. Человек трудящий — живой буде.

— А дорогой солдаты кормить будут, — говорит тот же солдат.

— Солдаты! — презрительно усмехается бойкая баба. — Є хорошие солдаты, а є другие — пакостные. Т у т считается, значит, він охра-

---

[1] Нащупает, настигнет.

няє, а у сусіда корову угнали, хустку (платок) украли, у скриню (сундук) лізе...

— А ты корову продай, — советует солдат.

— Хто ii купить по деревні? Никому вона не нужна. Евреі остались без діла. Без ціни зовсім имущество сделалось...

К нашей стодоле подходит седой старик и низко кланяется, просит уплатить ему 35 рублей за сено, которое брали у него наши ординарцы.

— Я за управленских уплатил, — говорит адъютант.

— Ні, це пàркови, — объясняет старик.

— Вот еще нахал! — с негодованием кричит Старосельский. — Ему 35 рублей, прохвосту! Еле-еле ходит, а с нас 35 рублей требует.

— Повесить его, скотину, головой вниз, — иронизирует Базунов, — вот он будет знать в другой раз, как за сено требовать.

— Да нет, — горячится Старосельский, — это на самом деле наглость. Все равно его сено сейчас палить будут, так за что же ему 35 рублей?

Голос Старосельского громко разносится по деревне. Беседующая группа замирает в картинных позах. Лица у всех вытянутые, суровые. Только у бойкой бабенки на губах играет насмешливая улыбка.

... Опять снуют над головой аэропланы. Они кружатся целыми стаями. Где-то совсем близко грохочут пушки. У нашей стодолы столпилось человек десять офицеров. Они нервничают, ругают начальство и тоскуют о мире. С час тому назад на висячем мосту убит бомбой с аэроплана часовой. В Бресте сброшенной бомбой ранены три солдата. Над нашим парком все время вьются четыре аэроплана. Гремят зенитные пушки, визжат шрапнели. Но аэропланы низко и медленно кружатся над парком, не обращая внимания на выстрелы.

— Какая дерзость! Эх, подбить бы его, — говорит кто-то из офицеров.

Освещенные косыми лучами солнца аэропланы, казалось, весело насмехались над нами.

— И где это наши летчики? Что они делают?

— Сестер милосердия на автомобилях катают. Разве вы не знаете?

— Бездарная у нас публика. Хоть бы профессора наши выдумали что-нибудь для борьбы с аэропланами.

— Что тут выдумаешь?

— Ну придумайте пушку, которая бы воздушной струей опрокидывала аэропланы. Или магнит такой, присасывающий машину. Мало ли что....

— Вот-вот, — подхватывает Базунов. — Притянуть его, подлеца, произвести над ним ма-

ленькую операцию и зарядить в пушку для сбивания аэропланов.

— К чему все эти чудеса, — говорит ноющим голосом ветеринарный доктор Колядкин, — когда есть такое простое и хорошее средство: мир... Только скажите это слово — и сейчас пушки перестанут стрелять, исчезнут аэропланы... Такое желанное слово, — вздыхает Колядкин. — Кажется, мы никогда не дождемся конца войны.

— Дождемся, и очень скоро. Только после войны еще хуже будет, — мрачно произносит какой-то незнакомый нам черноусый офицер.

— Почему так?

— Если внутри перемен не будет, пойдет такая резня, что небу жарко станет.

— Ничего не будет, — сухо роняет Старосельский.

— Будет! — внушительно отвечает тот же офицер. — Люди легче стали. Жалеть нечего. Заварится каша.

— А будут с миром тянуть, — говорит Левицкий, — во сто раз хуже будет.

— О каком же теперь мире может быть речь? — возмущается Растаковский. — Это значит сдаваться на милость победителя...

— Ну, куцый мир, а все-таки мир, задави его гвоздь, — шутливо вздыхает Кириченко.

— На кой он тогда чорт?

— Это вы теперь говорите, когда узнали, что в крепости сидеть не придется.

— Ну разве можно воевать, — вмешивается офицер из дружины, — когда кругом вор на воре... Слыхали? В Киеве двух генералов повесили за то, что они 104 вагона австрийских трофеев через Румынию назад в Австрию отправили.

— Ну, это из «солдатского вестника», — смеется Левицкий. — Ко мне вчера приходил солдат, спрашивал: правда ли, что комендант брестской крепости убежал к немцам еще 24 июля и передал им все планы? Так что теперь из-за этого приходится сдавать крепость без боя?

— Что ж, доля правды в этом имеется: из-за кого-то ж приходится сдавать крепость без боя?

— Забодай их лягушка, — раздражается Кириченко. — Когда вздумали крепость эвакуировать! Неприятель в двух верстах от передовых укреплений; прет с трех сторон, а они только теперь догадались, что крепость никуда не годится.

— Воображаю, сколько добра достанется немцам, — говорит Болконский. — Одних консервов в крепости заготовлено 45 миллионов. Хлеба, муки, скота — неисчислимое количество. Крепость готовилась к полугодовой осаде.

— Ведь у нас все время так делается, — говорит с раздражением дружинник. — Дорогу

заканчивают перед тем, как сдавать ее немцам. Во Влодаве платформу достраивали в день отступления. По неделям части стоят без дела. Тут бы как-раз хлеб смолотить и увезти. Никто и думать не хочет об этом. А потом сжигают.

— Сжигают — это бы еще ничего. Немцам отдают.

— Всюду изменники работают. Все это умышленно делается. Слыхали вы, как под Брестом окопы строили? В нашу сторону! Теперь там кого-то под суд отдают.

— Под суд? — язвительно подхватывает Базунов. — Ну, значит, дадут ему Белого Орла и посадят в Государственный совет. У нас ведь такой порядок: как только поймали прохвоста с поличным, так ему сейчас — Белого Орла и в Совет.

— А в Думе кричат: воюем! Что же, они ничего не знают? Хоть бы написать им, что ли?

— Что там из писания выйдет? — пренебрежительно отмахивается черноусый офицер. И добавляет с суровой решимостью: — Пока с волка шкуру не снимут, никакого толку не будет!

... С трех часов ночи грохочут тяжелые орудия. Стреляют с западных фортов. Временами огонь становится ураганным и пальба превращается в протяжный, стонущий гул, раскалы-

ваемый треском шестнадцатидюймовок. По дороге мимо нашей стодолы тянутся обозы и транспорты, гурты скота, этапные полуроты, понтонные батальоны вперемежку с голосящими бабами, мужиками, почтовыми фурами и лазаретными двуколками.

Идет спешное отступление.

... В ясном небе вьются германские аэропланы. Их очень много. Они сбрасывают бомбы, которые рвутся в разных местах и наполняют воздух резким металлическим треском.

Возле нас отдыхают казаки Екатеринбургского полка. Развалившись на травке, они пренебрежительно поглядывают на летающие машины и спокойно обмениваются размышлениями.

— Вот за ероплань эти, — говорит здоровенный загорелый детина, — надо бы немцу все ребра перебить, и то мало. Ни на часок тебе отдыху нет. Уснешь при дороге — и к бомбе во сне прижмешься.

— Нет больше сволочи как немец, — отзывается другой, — все для смерти удумал. И газы, и ероплань, и пушки...

— Всех война выучила, — вздыхает пожилой казак. — Ни стыда ни совести. Ровно траву луговую людей косим...

— Про то ж я и говорю, — живо откликается первый казак. — Один забрался наверх и... гадит бомбами. Другой снизу плюет в него шрапнелью. Для ча? Кому это надобно? Чорт его знает. Гудит, трещит. Облегчиться не дают. Того и гляди зацепит бомбой или снарядом...

Наша стодола, расположенная у самой дороги, давно уже сделалась сборным пунктом всех проезжающих офицеров. Явная, бьющая в глаза бессмысленность верховных распоряжений, ужасающая неподготовленность, посрамленность, растерянность, чудовищное казнокрадство и национальный позор развязали всем языки. Здесь, на территории Бреста, уже никому не мешают доискиваться правды. Да и как помешаешь? Как зажмешь рот всем этим беженцам, солдатам и прапорщикам? Во всех речах клокочет нескрываемое беспощадное раздражение. Командир дивизионного обоза, подполковник Шмигельский — только-что из штаба дивизии и делится свежими впечатлениями:

— Что там творится, если бы вы знали!.. Ничего нет. Никто ничего не знает. Крепость только через год закончена будет. Форты не облицованы, бетон наружу торчит. А что сделано — никуда не годится. Командиры полков волосы на себе рвут. Полковник Нечвало-

дов чуть в морду не дал Белову. При мне благим матом кричал:

— В окопах сидеть невозможно! Чорт их знает, ваших строителей, о чем они думали. Хоть бы в Синяве австрийские окопы посмотрели. Ни козырьков ни бойниц. Две покатых стены!.. Как в заднюю стенку снаряд хлопнется, так восемь человек из строя вон! А ходы сообщения ниже колена. Повесить их, ваших строителей, на первой осине. Укрепляли не Брест, а собственные карманы.

— Где ж мы теперь задержимся, если Брест сдадим? — волнуются слушатели.

— А чорт его знает! Гвардейцы говорят, что по линии Смоленск — Киев возводятся укрепления.

— Чем же те укрепления лучше будут?

— Ничем, конечно. Надо просить мира. Ничего другого не остается...

... Новые лица и те же язвительные разговоры. Кричат о разрухе, бездарности, о страшных хищениях, о немецком засильи. Больше всех горячится драгунский поручик Белозерский.

— Я никогда не сочувствовал революции. Но теперь, если революция будет, меня увидят в первых ее рядах. Помилуйте: до сих пор

муку продолжают свозить в Брест. Знаем мы, для чего это делается. А солдаты, думаете, не понимают? Уже начинается!.. Слыхали, что сегодня было в Бресте? Солдаты стали разбивать винные склады. Поставили часовых. Те стреляли. Солдаты отвечали тем же. Был пущен блиндированный автомобиль, который промчался, стреляя из пулеметов, среди перепившейся толпы. Раненых много...

... Гуляем втроем с Болконским и Старосельским. Мигают первые звезды. Тихо. Идем целиной. Над лугами курятся испарения. На западе небо пылает от пожаров: горят мосты.

— Кажется, проиграю пари, — криво усмехается Старосельский.

— Что ж дальше будете делать? — спрашивает Болконский.

— А что прикажете делать? Всюду такая сволочь, такое г..но! Я отлично знаю: кончится война — начнется революция...

Старосельский задумался и потом продолжал:

— Одно могу сказать; от всей души желаю, чтобы лучше стало. А станет ли лучше — не знаю. Может быть, вышлют один корпус — и всю революцию разметут. И еще туже завинтят крышку. И опять будут душить и вешать.

И будут кланяться в пояс господину околоточному надзирателю и записываться в союз русского народа... А впрочем, чорт с ними. На мой век хватит, а на остальное мне наплевать. Теперь я одного хочу. Когда сидишь у постели умирающего близкого человека, думаешь только об одном: скорей бы он умер. Так и я теперь одного хочу: скорого мира! И только...

— Неужели из-за того, что в России плохие околоточные — всем погибать? — говорит Болконский.

— Она вся гнилая. Быть ей вторым Китаем. Никуда она не годится. Вы вот фантазируете, а я знаю. Знаю, кто сидит наверху и что творится внизу...

— Что не годится, надо вон вымести, — замечает Болконский.

— Попробуйте. Что из этого выйдет?

— Насчет скорейшего мира, — говорит Болконский, — я с вами согласен: надо кончать эту грязную историю. А в дальнейшем... мы еще посмотрим, кто кого...

... 12 августа. Вечером приехал Кордыш-Горецкий и привез кучу тревожных новостей. В штабе дивизии окончательно потеряли голову. Приказания меняются ежеминутно. Вывозят что̀ попало. Интендантство раздает солдатам

сапоги, гимнастерки и сахар. Солдаты тут же продают это беженцам. Противник переправился через Буг и успел подойти к проволочным заграждениям, но был отбит 70-й дивизией. Аэропланами сброшены в Бресте прокламации, в которых говорится, что Брест будет взят 14 августа.

В 10 часов вечера прислано срочное предписание из штаба дивизии:

«Погрузив по 500 000 винтовочных патронов на каждый парк, в семь переходов дойти до города Слуцка».

... В 11 часов вечера злой и мрачный вернулся из штаба корпуса Базунов и сообщил, что все прежние приказания отменяются, и мы остаемся пока на месте.

Нервно шагая по стодоле, Базунов выпаливает короткими залпами:

— Отчаянно нажимают с северо-запада. Им наплевать! Не хотят нас брать в лоб. Они прут с боков, по обеим сторонам Бреста. Дай бог как-нибудь выбраться отсюда. Тр-р-ри армии отступают по одной узенькой дорожке!

— Когда ж мы начнем отходить?

— Чор-рт их знает. Вместо того, чтобы спасать, что можно, и нас стараются потопить. Пять дней тому назад они получили приказ: «для сбережения живой силы, орудий и снарядов

защищать Брест-Литовск как полевое укрепление и приступить к эвакуации крепости, каковая эвакуация должна быть закончена в девятидневный срок». До сих пор уже можно было половину Бреста очистить. А они со вчерашнего дня раздают каждому встречному и поперечному — амуницию, сбрую, подковы, оси, колеса. Упрашивают — только берите.

— А как же понимать приказание: в семь переходов дойти до Слуцка?

— Какое приказание? Я прямо от инспектора артиллерии. Приказано ждать, пока придут лошади 18-й парковой бригады и 14-го мортирного дивизиона, на которых вывозят теперь пушки в Кобрин.

— Да вот же срочное предписание из дивизии.

— Вздор! Покажите... Я же говорю вам, что прямо от инспектора артиллерии еду!..

... На рассвете 13 августа меня разбудил голос ординарца Ковкина:

— Ваше благородие! Срочный пакет.

Вскрываю.

Приказание из штаба дивизии в 7 дней передвинуться в город Слуцк, Минской губернии, не делая по пути остановок.

— Ну, начался кабак! — вскочил Базунов.— Форменный кабак. Каждый распоряжается по-

своему. Гоните немедленно ординарца в штаб корпуса, — обратился он к адъютанту, — с пакетом такого содержания: в виду противоречивых распоряжений, прошу указать как быть.

... Идет беспорядочное бегство. Без конца тянутся обозы, транспорты, госпиталя, казачьи полки, пулеметные роты, парки и опять госпиталя, обозы, транспорты и этапные батальоны.

По всем направлениям гудят десятки аэропланов. Не успеют дозорные пушки повернуться в одну сторону, как в трех других местах уже снова вьются германские альбатросы и таубе. Слышны короткие грохочущие разрывы. Бомбы рвутся где-то совсем близко. Небо усеяно белыми хлопчатыми облачками, которые медленно тают в вышине и заменяются десятками новых. Воздух неожиданно наполняется странным протяжным потрясающим гулом, от которого долго покачиваются деревья. Через 15 минут уже передается из уст в уста, что это бомба взорвала бак с бензином на станции Брест-товарный и оставила на путях десятки обезображенных трупов.

Люди терроризованы воздушными хищниками и, как зачарованные, не сводят с них глаз. Не доезжая до станции Жабинка, поезд из Бреста подвергся налету воздушной флотилии.

Испуганный машинист остановил среди поля поезд, и люди бросились врассыпную, кто куда.

Нет ни одного уголка, защищенного от этих страшных набегов. Движение идет густыми колоннами, и от каждого налета жертвы уже насчитываются десятками, особенно среди беженцев. Аэропланы грозят превратиться в неслыханное бедствие.

... Воздух наполнен злобой и ненавистью. Возле нас расположилась на отдых ополченская бригада. Солдаты во всеуслышанье обсуждают все, что творится на их глазах:

— То не было снарядов, а то весь день и всю ночь топили в Буге снаряды. Каждый — прямо как бык. Во какие! Перегатили Буг от снарядов.

— Эх, выпил бы ведро водки и сказал бы начальству всю правду!..

— Лавочки все пооткрывали. Раздают. Берите, кто хочет: консервы, сапоги, рубашки, сало, сахар. Забирай, сколько можешь.

— Вишь ты, чертовина какая! — громко и вызывающе кричит пожилой солдат. — Снарядов не хватало, не хватало, а теперь топят! Скоро и пушки топить будут... Как в Порт-Артуре: затопили броненосцы, а японец их прекрасно вытащил... Сволочь!

— Такое начальство и в воду не грех, — звенит взволнованный голос, — коль оно своих, русских, не жалеет. Засыпать бы немца ураганным огнем, как он нас засыпает. Так нет же — не стреляют, а топят!..

Между ополченцами вертится наш Ничипоренко.

— Земляков шукаю (ищу), — поясняет он в нашу сторону и мимоходом роняет с плутоватой усмешкой: — Еге, нехай топять. А то німець ще подумаэ, що ми вже не боімся, що мы вже втікать не хочем. Да ще знов полізе драться... Ні, нехай лучше топять...

— Да из чего стрелять? — гудит чей-то свирепый голос. — На фортах видали? По три пушки! Болтаются, как овечий хвост в проруби — вот и вся артиллерия!.. Брест — крест!

— Мало нас били. Больше надо! Без немца никак до точки дойти не можем. Г.. но собачье!

— А може це такий дурень, — лукаво подзуживает Ничипоренко, — що кільки ні бей, з нього толку не буде... Сідай, куме, на дно...

... Прошли ополченцы. При дороге возле нашей стодолы расположилась какая-то маршевая рота. Разговаривает группа прапорщиков. Долетают отдельные голоса.

Первый голос: Под Влодавой давали только по 12 снарядов на орудие, а тут топят...

Второй голос: — Галицию нам, Берлин нам подавай! Да мы своего удержать не можем...

Третий голос: — И слава богу. Пускай забирает немец. Куда нам? Дрались мы с азиатским народом — нас побили. Деремся с Германией — где уж? До Москвы отойдем. Бессарабию заберут. Финляндия сама отойдет...

Четвертый голос: — Никуда мы не годимся. Ленивая недобросовестная страна. Вор на воре...

Пятый голос: — Четвертый месяц все удираем. Это уже не сражение, а марафонский бег...

Шестой голос: — «Се Русь», сказал Мамай, «и побежал с ратью...»

... В три часа примчался на взмыленном коне ординарец из штаба корпуса:

«Инспектор артиллерии приказал: в виду отхода всего фронта с получением сего немедленно передвиньтесь с тыловыми и средними парками по измененному маршруту — в Забужки-Мазуры. Будьте обязательно в указанном месте сегодня ночью. Головной переходит в Яковицы. Штаб корпуса будет ночью в Шиповичах. Окажите содействие

3-й и 18-й бригадам, люди которых еще не пришли из Кобрина».

— Едрикенштейн, — поскреб в затылке прапорщик Кононенко. — Пишется: в виду отхода всего фронта. Разумеется: в виду панического бегства...

— Да дело не тово... — пессимистически протянул Старосельский.

Базунов нервно вскочил:

— Разговаривать некогда. Нам нужно уходить! Как можно скорее уходить!.. Просто сил нет... Нас забывают. Нарочно, подлецы, забывают! Умышленно! А эти черти все валят и валят из своих пушек!..

По всему фронту от Бреста на запад оглушительно ревели орудия.

... По всем дорогам тянутся крикливые вереницы удирающих войск. С визгом и грохотом в две, три, в четыре шеренги катятся люди и лошади вперемежку с гуртами скота, автомобилями, лазаретными линейками и беженцами. Бегут как попало, крича и беснуясь, насыщая воздух проклятиями, утопая в потоках едкой матерщины и пыли. От пыли першит в горле и мучительно слезятся глаза. В белых клубах с трудом барахтаются ослепленные люди: человеку, сидящему верхом, не видать ушей своей

лошади. Поминутно вся эта грохочущая лавина замирает на месте, и тогда глазам открываются чудовищные картины: павшие лошади со вздутыми, как гора, животами; истекающий кровью жеребенок под колесами автомобиля; старик, умирающий на возу и беспомощно протягивающий свои тощие пальцы; обессиленные женщины, свалившиеся у дороги и ежеминутно рискующие быть раздавленными; дети с испуганными личиками, прижатые кабанами или телятами; дюжие солдаты, хватающие за грудь растрепанных девушек; десятками падающие среди дороги коровы; сбившиеся в кучу овечки; сотни заплаканных лиц с тоской и отчаянием выкрикивающих: но! но!..; полосующие кнуты; задерганные до полусмерти лошади и десятки тысяч усталых, замученных, запыленных солдат...

Чем дальше, тем гуще становится толпа, тем крепче скипается она в одно гигантское змеевидное тело, сбитое из коров, людей и копыт, колес, кнутов и повозок.

... Уходим с последними остатками ошалело-бегущей армии.

С трудом продираемся сквозь бушующее пламя. Огненные языки полыхают жаром в лицо. Сбросив всадников, десятки лошадей в одичалом безумии с топотом мчатся по горящим улицам Бреста.

На станции поезда удирают, не дожидаясь пассажиров. Отбившиеся одиночки-солдаты, сестры милосердия, беженцы — бросаются в первый попавшийся вагон и бегут, неведомо куда и зачем.

За вокзалом чуть синеют в тумане далекие леса, прорезанные золотыми блестками бивачных костров.

С высокого пригорка в последний раз открывается пылающий Брест.

В вечернем небе скачет и мечется широкое огненное зарево. Мглистый воздух, наполненный криками и гарью, гудит и вздрагивает от взрывов: это с грохотом взлетают последние форты. Каждая огненная вспышка, как кнутами, подхлестывает катящуюся лавину.

Извиваясь и лязгая, она вытягивается узкою лентой вдоль Кобринского шоссе — единственный путь через Пинские болота.

Вправо и влево от шоссе трясина. Из каждой болотной кочки земля выбрасывает гнилые испарения. Они тихо колышутся над трясиной и, как серые тени, стоят стеной вдоль дороги.

Чем гуще ночная тьма и чем дальше от Бреста, тем теснее смыкаются болотные туманы. Пугливо продираются люди сквозь их клубящуюся завесу.

Жутко. В мглистом сумраке незаметно стираются все грани между землей и трясиной,

между солдатом и беженцем, между жизнью и смертью...

Седая болотная паутина могильным саваном заткала землю. Не видать ни лиц, ни возов, ни дороги. Только лязгает железо, звенит матерщина, хлопают кнуты и хлещут отчаянные вопли:

— Погибать, ребята!

— Вот он, страх смертный!..

— Не война, ад кромешный!..

— Сорвался с тропочки — как в могилу бухнул...

— Эх, попадись ты который, лопни твоя печенка!..

— Пропадем!.. Так до самой могилы ни часочку нам радости не будет...

— Не видать нам солнышка больше...

А кругом, в пропитанном кровавым неистовством тумане, злорадно и гулко рычат германские пушки.

ОГЛАВЛЕНИЕ.



1 р. 50 к.



6

